



**Лауреаты премии
имени Валериана Правдухина
2011 года**

Александр Филиппов
Роман «Аномальная зона»

Александр Филатов
«Все двенадцать погод». Стихи

Ольга Рузавина
«Про жизнь в настоящее время»
Непридуманная повесть

Татьяна Дегтярёва
«Зорко одно лишь сердце...»
(Тайна семейной диалогии С.Т. Аксакова). Литературоведческий очерк

Поощрительные дипломы

Антонина Мелешко
«Отрада для русской души». Стихи

Сергей Емельянов
«Житие на Купле, или Краткая история спецпоселения Купле
в живых свидетельствах и картинках»
Воспоминания

Фёдор Шукин
«Ташлинский Барбизон». Рассказ

**ГОСТИНЫЙ
ДВОР**

Литературно-художественный и общественно-политический альманах
Издаётся с 1995 года

Издание осуществлено на средства
Правительства Оренбургской области



Оренбург
2012

Учредители:

Министерство культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области,
Оренбургская областная общественная писательская организация Союза писателей
России

Главный редактор Н.Ю. Коженикова

Редакционный общественный совет:

председатель — **В.А. Шориков**, министр культуры, общественных и внешних связей
Оренбургской области

В.А. Бахревский (Подмосковье)

В.В. Ренёв

Н.А. Емельянова

П.Г. Рыков

Г.П. Ивлиев

Л.П. Сковородко

Д.Е. Кан (Новокуйбышевск)

В.Б. Соколов

В.М. Капустина

Т.В. Судоргина

П.Н. Краснов

А.А. Тельяшин (Новотроицк)

В.А. Лабuzов

А.Г. Филипов

Г.П. Матвиевская

А.А. Чибилёв

Почтовый адрес редакции:

460009, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелёвых, 4

Телефоны: (3532) 74-43-39, 8-903-394-32-60

Почтовый адрес издателя:

460009, г. Оренбург, проспект Братьев Коростелёвых, 4

Государственное унитарное предприятие «Редакция газеты «Оренбуржье»

Телефон/факс (3532) 74-43-36

E-MAIL: Gdvor56@yandex.ru

На первой и последней страницах обложки — фото **В.Б. Соколова**

Художник — **П.Л. Церемшилов**

Компьютерный дизайн — **Л.В. Гмырина, А.А. Воловод**

Компьютерный набор — **Е.Н. Цыганчук, Г.Р. Чуйкова**

Корректоры — **Ф.Н. Кусикова, Л.И. Белиева**

В спорных случаях оставляются стиль, орфография и пунктуация авторов, которые несут ответственность также и за достоверность фактов. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи

Сдано в набор 17.02.2012 г.

Подписано в печать 19.03.2012 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная. Бумага офсетная. Объём 22,5 печ. л.

Тираж 1 500 экз.

Заказ № 595

Цена свободная

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ56-00153 от 21.04.2010 г. в Управлении
Роскомнадзора по Оренбургской области Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Отпечатано в ООО «УралПечатьСервис»

462353, г. Новотроицк, ул. Горького, 14

ISBN

© Альманах «Гостиный Двор», 2012

Да, назначение русского человека
есть бесспорно всеевропейское и все-
мирное. Стать настоящим русским,
стать вполне русским, может быть,
и значит только... стать братом всех
людей, всечеловеком, если хотите...

И впоследствии, я верю в это, мы,
то есть, конечно, не мы, а будущие
грядущие русские люди поймут уже
все до единого, что стать настоящим
русским и будет именно значить:
стремиться внести примирение в ев-
ропейские противоречия уже оконча-
тельно, указать исход европейской
тоске в своей русской душе, всечело-
вечной и воссоединяющей, вмести-
ть в неё с братской любовью всех наших
братьев, а в конце концов, может
быть, и изречь окончательное слово
великой, общей гармонии, братского
окончательного согласия всех племён
по Христову евангельскому закону!

Ф.М. Достоевский

ГОСТИНЫЙ ДВОР

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- 6 Пётр Краснов. Заполье. Роман. Окончание
- 138 Павел Рыков. Мы родину с тобою не корим.
Стихи
О поэзии Павла Рыкова. Послесловие С. Фролова
- 146 Владимир Петров. На душе моей светло. *Стихи*
- 151 Евгений Курдаков. Озеро. Десять дней одного лета.
Дневниковая повесть-эссе
- 166 Антонина Юдина. В деревню хочется. Зима. *Стихи*
- 171 Нина Лукьянова. Вся Россия — храм зелёный.
Стихи
- 175 Георгий Саталкин. Непризнанный гений. *Рассказ*
- 184 Татьяна Немкова. Стихи — как часть моей души...
Стихи
- 190 Вадим Бакулин. Сердце России. *Стихи*
- 195 Владимир Одноралов. Пропуск в сморчковое братство. *Рассказ*
- 217 СТИХИ ПО КРУГУ: Александр Пантелин, Наталья Осипова, Анна Ганюшкина, Дмитрий Хайнц
- 64 Марина Струкова. Русский, в русского не стреляй!
Стихи
- 69 Владимир Скиф. Взятие Кремля. *Стихи*
- 75 Вячеслав Лютый. Два эссе
- 82 Светлана Сырнева. Польшня. *Стихи*
- 87 Валерий Михайлов. «Моя родина — русское слово».
Стихи
- 92 Валентин Распутин. Мой манифест. О русской литературе и не только
Валентину Распутину — 75! *Послесловие П. Краснова*
- 99 Эдуард Анашкин. «Нам повезло, у нас есть Распутин...»

НАША ГОСТИНАЯ

- ОРЕНБУРГСКАЯ ДИАСПОРА 113 Валентина Ерофеева. Ожиданье. *Стихи*
Святость доверья. *Послесловие Г. Абсава*
- 327 Алексей Иванов-Огарыш. Любить без приказа.
(Из дневника церковностроителя.) Вторая часть
- ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ 123 Надежда Емельянова. Кто видел смерть в лицо, тот знает цену жизни. О политиках-патриотах, хранителях истории и Русском клубе. *Взгляд журналиста*
- ПРЕДСТАВЛЯЕМ КНИГУ 201 Валерий Кузнецов. Преображение. *Стихи*
Неизъяснимая тайна бытия. *Послесловие С. Фролова*
- ДЕБЮТ 211 Елена Сурина. Кормитель птиц. *Стихи*
- ВОЗВРАЩЕНИЕ КНИГИ 222 Валериян Правдухин. По излучинам Урала. *Предисловие А. Прокофьева*
- В ЗЕРКАЛЕ ИСТОРИИ 280 Галина Матвиевская. Труды П.И. Рычкова в оренбургских изданиях XIX века. *Обзор. (К 300-летию П.И. Рычкова)*
- КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 293 Василий Перовский. 1812 год. В плену у французов. *Воспоминания (К 200-летию юбилею победы русских войск в Отечественной войне 1812 года)*
- 313 Сергей Скибин. П.П. Жакмон: «Матери моей предстояла тяжёлая задача...» *Из воспоминаний оренбургского старожла*
- 348 Иван Коннов. «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!» *(К 175-летию со дня смерти А.С. Пушкина)*
- 359 Владимир Соколов. «Креатив для меня является синонимом обмана». *О массовом увлечении фотографией, дьявольских сетях и райских птицах*



Валериан Павлович Правдухин (1892-1938) родился в станице Таналыкской Орского уезда Оренбургской губернии в семье писальщика. Учился в Оренбургской семинарии, был исключён за участие в митинге, затем получил диплом народного учителя и работал в Акбулакской школе, служил в губернском земстве, играл в театре. В Челябинске, будучи заведующим политпросветом, занимался организацией библиотек и читален. Создатель и редактор журнала «Сибирские огни». Последние годы жил в Москве и Ленинграде. В 1937 г. был незаконно репрессирован, а книги его запрещены.

Валериан ПРАВДУХИН

ПО ИЗЛУЧИНАМ УРАЛА*

2 февраля 2012 года исполняется 120 лет со дня рождения русского писателя XX века Валериана Павловича Правдухина. Его судьба трагична — писатель был репрессирован в сталинские времена, произведения его забыты. Жизнь и литературное творчество этого замечательного прозаика, драматурга, публициста во многом связаны с Оренбургским краем.

В.П. Правдухин родился в станице Таналыкской Орского уезда Оренбургской губернии, жил в селе Петровском Оренбургского уезда, поселке Каленовском (ныне это Уральская область Казахстана), селе Михайловском на реке Сакмаре, учился в оренбургской семинарии, работал учителем в Акбулакской школе, попробовал себя на поприще актера, служил в земстве — был председателем уездного — орского, — затем губернского земства Оренбургской губернии.

Его очерковые книги «Охотничья юность», «Годы, тропы, ружье» написаны на оренбургском

материале и в художественных традициях С.Т. Аксакова, автора очерков «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» и «Записки об уженье рыбы».

Свое восхищение Оренбургским краем, его природой Правдухин передает и в романе-эпопее о казачестве «Яик уходит в море», оставшегося не законченным из-за ареста писателя.

Литературная деятельность В.П. Правдухина была многогранна: он был не только прозаиком, но и драматургом, литературным критиком, публицистом, создателем и редактором известного журнала «Сибирские огни». Его творчество пока не собрано, недостаточно изучено, не все произведение прочитаны. Многие по сборанию и изданию произведений В.П. Правдухина было сделано литературоведом из Уральска Н.М. Шербановым, недавно ушедшим из жизни. Благодаря ему читателю стал доступен целый ряд не известных ранее произведений писателя.

Особое место в литературной деятельности Правдухина занимает его очерковая книга «По излучинам Урала»¹, в которой он оставил нам уникальнейшее описание Оренбурга 1920-х годов. В очерках этой книги Правдухин сопоставляет старую крепость Оренбург с новым городом (конца 1920-х годов), прибегая то к манере бесстрастного летописца, то рисуя насмешливо-ироничные картинки «революционных дел» оренбургских либералов, то отдавая дань своему времени в оценке событий и их героев.

Безусловно, на этом произведении остался отпечаток времени написания (конец 1920-х годов — А.П.) — когда господствовал атеизм, преследовалась церковь, священники (а у писателя было опасное происхождение — он происходил из семьи священнослужителя). Есть в очерках и негативная характеристика атамана Дутова — явная дань советской цензуре. Видимо, В.П. Правдухин хотел обезопасить себя, ибо еще недавно, в 1917 — 1918 годах, писатель, будучи председателем губернского земства, и Дутов, занимавшийся казачьими делами, выступали на одних и тех же оренбургских губернских собраниях, заседаниях. Удаление Правдухина идеями эсеров в 1925 году использовал известный советский критик журнала «На посту» И. Вардин, обвинивший Правдухина в чуждости советской идеологии. Правдухину пришлось опубликовать в газете «Правда» (25 января 1925 г. — А.П.) письмо, в котором он отмечал, что никогда не скрывал своих политических взглядов. В том году в защиту писателя выступил на страницах «Правды» Е. Ярославский...

Книга В.П. Правдухина «По излучинам Урала» была запрещена в 30-е годы, после ареста писателя. В Оренбургской областной библиотеке чудом сохранился один экземпляр этой книги, но с несколькими испорченными страницами, поэтому для их восстановления, выверки всего текста пришлось все же выплывать книгу из столичной библиотеки.

Алла Прокофьева

I СТАРАЯ КРЕПОСТЬ

Едем охотничьей компанией от Оренбурга вниз по реке Уралу. Две лодки уже третий день покачиваются на голубых волнах близ пристани. Нам необходимо миновать железнодорожный мост, для этого нужен особый «допуск». Оказалось, не так-то легко его раздобыть. Днем я бегая по учреждениям, добываясь допуска, а вечером наблюдаю жизнь города. Город я знаю давно, поэтому и в обновленных чертах я вижу его прежнюю жизнь, его недавнюю историю.

Старая крепость второго разряда ведет свое начало с 1742 года. Правый берег Урала, где лежит город, высок и обрывист. Ветхие пласты глинистого песку высятся над рекой лопьями заплесневелого ржаного хлеба. Выше берега — мертвым одряхлевшим туловищем разлется длинный земляной вал. За ним тяжельми коробами крыши расположся губернский город. За рекой, на левом Бухарском берегу, луговинами, дубовыми, березовыми и осиновыми рощами, степными изволами открывается дремотная древняя Азия, защитой от которой раньше служил для России город.²

Азия бежит от города ленивым разбегом седых степей, как старший усталый зверь. Ковыльная шкура ее во многих местах прорвана теперь свежими ранами черных пашен, пятнами красно-бурых залежей и темных бахчей.

Город смотрит из-за крепостного вала на реку, на степи, на рощи холодно и отчужденно. С крутого берега в небо вскинулось несколько

церквей и среди них узкий купол старой церкви Святого Георгия. Много лет тому назад из степей приходил сюда в предместье, потеперешнему Форштадт, Емельян Пугачев и оксверил престол в алтаре тем, что сядился на него. Пришлось снова освящать его по изгнанию Пугачева. С колокольни церкви Емельян стрелял из чугунной пушки в царское войско. Пушка эта долго валялась в ограде. В солнечные дни на ее грузном теле скакали в степь чумазные ребята — Алешка и Петька, дети церковного сторожа. Ниже по берегу раскинулись сады, тяжелое здание бывшей духовной семинарии, желтое здание гауптвахты, похожее на средневековый замок, построенное в 1856 году губернатором Перовским. Здание предназначалось для музея, но потом его обратили в место заключения. Еще ниже по реке на берег неуклюже выступили низкие белые Елизаветинские ворота. На верхнем перекладе их два купца безносых ангела, похожие на степенных каменных баб, с одутловатыми безносими от дождей и снегов лицами. За воротами на бульваре «Беловка» среди аллей чухлой акации высокая под темный мрамор, похожая на Александринский столп, колонна с золотым шаром на вершине. На ней рельефными буквами благодарность Александру Первому за свободу... от воинского постоя: «Благодарные жители воздвигли сей памятник да передаст потомству милость царя на счастье народа».

В пяти верстах от города за Уралом близ полотна Ташкентской железной дороги расположился Ме-

новой двор: больше двухсот деревянных теремов-лачюнок, обнесенных высокими каменными стенами в виде крепости с бастиянами. Когда-то окранны города и торговля страдали от разбойных набегов азиатов. В старину сюда стекались огромные караваны до двух тысяч верблюдов и лошадей из Бухары, Хивы, Коканда, Ташкента, Самарканда, Акмолинской и Тургайской областей. Башкиры, татары и киргизы в равных бешметах, в высоких ушастьях малахалых продавали русским купцам гурты овец, рогатого скота, косяки низкорослых гривастых лошадей, тысячи пудов шерсти и кож. Сюда привозились из Башкирии бобры, белки, волки, зайцы, горностай, выдры, ласки, куницы, рысь, норки, лось, росомачи, медвежий мех и т.п. А из киргизских степей — бабры, отродье тигров, похожих на рысь или дикушку кошку. С низовьев Урала яныкские казаки везли сюда сайгаков, кабаны туши, вязику, икру и рыбу. Из Гурьева еще на моих глазах привозили лебяжий шкура, а из степей живых борзюгов, соколов, ястребов, употребляемых для ловли лис, птиц и волков... Главными товарами были здесь хлопок, скот и хлеб. Азиаты на Меновом дворе пили кумыс и чай, ели белеси-ватрушки из пресного теста с бараниной и, закупив фактуры, бархату, парчи, сукна, шелковых тканей, позументов, зеркал, лент, тесьмы, юфти, холста, серебра и золота, железных и чугунных изделий, медленно уходили караванами обратно в степи. Миллионные обороты! В 1913 году общий оборот торговли на Меновом дворе равнялся 1.402.859 рублям 13 копейкам.

На восток и север от города лежат жирные черноземные пространства, заселенные казаками и крестьянами, выходцами с Украины и из центральных губерний. Эти земли, отнятые у башкиров и киргизов, дают сказочные урожаи. Сюда город обернулся железнодорожными застроиками, фабриками и заводами и рядом огромных паровых мельниц. Каждую осень и зиму из станиц и поселков, селений и хуторов, главным образом из Орского уезда, тянутся в город длинные обозы с хлебом. Старый крестьянин украинец Матвей Телега из села Шубинского рассказывал мне, как он возил продавать хлеб в Оренбург, уплачивая за извоз по сорока копеек с пуда, и продавал этот пуд на базаре по сорок пять копеек. Город издавна питался этим хлебом, тяжело тучнее, как племенной вол. Город выстроил две мужских гимназии, три женских, две семинарии — духовную и учительскую, епархиальное и реальное училища, женский институт благородных девиц, военное училище, киргизскую школу, два десятка церквей, два огромных кадетских корпуса, несколько больниц, около сотни заводов и фабрик, где до революции работало больше двух тысяч рабочих.

Общественная жизнь города ширилась и расцветала с каждым годом. Пятнадцать богаделен, больше пятидесяти обществ и союзов имел город к 1913 году, и среди них многие блистали самыми громкими названиями: «Оренбургский отдел Императорского Православного палестинского общества», «Окружное управление Российского Император-

семинарии! В убийстве палача несомненно участвовали семинаристы, люди, готовые стать священнослужителями. Впервые педагогам пришлось увольнять юношей не за шалости и малоспособность, а за политику. Торговцы, богатые крестьяне, попы стали опасливей поглядывать на город, и кое-кто из них увез оттуда своих детей обратно домой.

И, наконец, случилось самое ужасное. Перед Германской войной застрелился полицеймейстер Быбин. Еще накануне он объезжал улицы города на паре лихих киргизских лошадей, сидя в коляске в своей классической позе, гордо подбоченившись правой рукой, а утром рано с базара по городу пробежал шепот: «Быбин застрелился!»

Евдокия Семеновна, жена рыбного торговца Зарывнова, узнав об этом, несмотря на свою дородность, не поленилась добежать до своей подружки Ульяны Петровны, жены мясного торговца Завьялова, и с ужасом ей поведала:

«...И лежит он, раскинувшись посередине пола, а в правой руке зажат у него револьвер, а из него дым так и валит, так и валит: всю горницу заполонил. А сам-то он как на параде одетый, разнесчастный голубь-то наш. На груди у него все кресты и медали понавешаны, поясом серебряным опоясан, тем самым, что губернатор ему в день именин пожаловал, а в левой руке портрет государя к губам приложил, все целовал его перед кончиной-то. А кругом по паркету вороха книг и все порваны в клочья. И книги-то все запрещенные да недозволенные. С вечера он, вишь, камин затопил и все туда их

совал, пожечь хотел, а трубу-то открыть позапаямталовал и от дыму всего пожечь сил не хватило. А на столе рапорт оставил самому губернатору. Так и так, мол, Ваше Высокое Величество, умираю за веру, царя и отечество. Стад, грит, я книги эти запрещенные, что у преступников поотбирал, читать, чую, что и сам погибаю, ихним духом заражаюсь и день ото дня все больше и больше. Сперва порешил было написать приказ об своем аресте, но не смог, не хватило кровей на такую храбрость и рассудил притом: соблазн-то какой получится для других, если сам себя арестую и меня, полицеймейстера, за политику судить всенародно станут. Порешил поэтому ради блага отечества предать себя смерти своими руками...»

Ульяна Петровна сначала ахала от страха, а к концу рассказа не выдержала — и заплакала самыми настоящими слезами от боли и удивления. Но ходила по городу и другие версии объяснения причин самоубийства полицеймейстера. Помощник бухгалтера канцелярии губернатора, рыжий Севериков Иван Иванович, придя со службы, рассказывал своей жене следующие:

— Зашли к нему поутру, а он лежит с разбитой от пули головой, а сам и одетый не успел: голый, как настоящий Адам в раю. А на руке замотана женская косынка и кругом разные другие женские причиндалы...

Тут Иван Иванович не утерпел и игриво ципанул жену за самое мягкое место.

— Да чтой-ты, — при покойнике-то, — ужаснулась та.

— Да какой же это покойник, если он сам себя. Архирей наотрез отказался совершить по нем панихиду. Нет, ты дальше послушай... Вбегает, знаешь, этаким манером жена его, обе половинки двери настежь и с ревом к нему. А ей и дают все собранные женские принадлежности. А она сдуру-то и с испугу-то: — Не мой, видит бог, не мой... — Стали осматривать местность вокруг, а изпод кушетки ножки торчат. Извлекли оттуда Еву в обмороке... Актрису Великову. Помнишь, христианку Лигию в «Камо грядеши» так хорошо представляла? Он, оказывается, после сверки-то уже три месяца двойную бухгалтерию с ней италянскую вел и всем значительным казенным суммам счет в честь ее подписал. А потом и себе баланс окончательный подвел».

Мы не знаем, кому верить в данном случае, но одно несомненно: эта смерть решительно пошатнула вековое равновесие города. Молодежь стала донельзя дерзкой и самостоятельной. Даже дети на угрозы родителей выпороть их, — обычай, священный веками, — теперь отвечали задорливым вопросом:

— А раньше-то?

Эта бессмысленная реплика, ставшая в городе пословицей, тоской отзывалась на сердце отцов и матерей. Если бы дети знали, какой на самом деле была жизнь в городе «раньше-то!» Что это? — На улицах города появились люди без определенных занятий. Притом это были вовсе не нищие и не дети зажиточных родителей, а студенты, никогда не учившиеся в университетах. Бог мой, кто же теперь может запретить

человеку носить тужурку со светлыми пуговицами и не стричь своих волос? Эти люди выступали на вечерах и концертах, где, завывая и ударяя кулаком себя в грудь, читали Надсоновское «Друг мой, брат мой», Некрасовское «Размышления у парадного подъезда».

Все это было уже по-настоящему страшно. Собор не мог вместить толпы молящихся, шедших в его широкие покои за помощью свыше. Город менял свое лицо, город был неузнаваем. Вековые устои еще сохранялись, но тут же явственно и неуклонно росло чужое, невиданное и опасное.

На помощь городу пришел «Союз Русского народа». Во главе его встал сам архирей и ректор Духовной семинарии, теперь архиепископ живой церкви на юге, пишущий «революционные» брошюры о церкви.

Все духовенство объединялось с жандармским управлением против рабочих и интеллигентов. Но и это не принесло городу успокоения. Город готовился к осаде. Слово за Уралом в степи снова появился Емелька Пугачев. Его соратники уже бродили по ночам в самом городе, не давая покойно уснуть гражданам в их тяжелых домах. Шла война, а за ней грозной, грозovou тучей двигалась на Россию, на город революция...

II НОВЫЙ ГОРОД

На пыльных улицах Оренбурга я встретил своего старого знакомого, Силантьева, вернувшегося из киргизских степей. Оказалось, что он дезертировал туда еще во время

германской войны и прожил пастухом у богатого киргиза всю революцию, но видав гражданской войны. Теперь он впервые смотрел на новый Оренбург. Его нетронутыми глазами я поверял свои впечатления от нового города.

— Город тот же, что и говорить. Та же пылица, те же неуклюжие дома. Автобуса раньше не было, и людей было поменьше. Пообтерся город, поизносился. Торговля стало меньше. В магазинах, пожалуй, по-прежнему торгуют, ну а на базарах несравненно меньше. А вот люди стали другие. Совсем другие. Вам, может быть, незаметно, а мне ясно видно. Страх утеряли. Миллионеров не боятся, как мы боялись гороховиков. Толку и сейчас у начальства добиться трудно, но важно то, что добиваться всего можно. Я везде побывал, вплоть до самого Каширина, преддубисполкома. А поминишь, как мы попусту в губернаторской канцелярии политическую благоденность исхлопывали?

И правда, за исключением пятнадцати автобусов, гудящих для Оренбурга по-новому, маленького памятника Ленину в бывшем Александровском садике, город внешне остался прежним. Летом та же серая, мучительная пыль, те же полуазиатские базары с массой съестных припасов, «Толчок» мелочной и фруктовой торговли, груды уральского яблочка, ташкентских фруктов, горы илечных арбузов. По базарам, по магазинам наряду с городским людом, бородатые земляки-казаки с истертыми лампасами, башкиры и киргизы в высоких малахаях, часами выбирающие три метра цветной мануфактуры

на платье для своей марии (жены). Вывески переменялись, но много и старых, вековечных. Так, на главной Советской, по-прежнему — Николаевской, вы увидите знаменитую вывеску, доставляющую ребятам много удовольствия: «Парикмахер. Стригу и брею. Кур». И сам парикмахер Кур еще жив, — вы можете зайти к нему побриться и поговорить о политике. Он по-прежнему убежден, что деньги надо уничтожить, что только тогда настанет на земле счастье. Сохранились известные в крае фруктовые лавочки Гумарова.

Улицы в городе стали хуже: асфальт на Советской зияет ямами, и шоферу нужно очень искусно лавировать, чтобы не вытриты всех внутренностей из пассажиров. Пузатый, тяжелый собор по-прежнему внешне главенствует над городом, но уже никогда не увидишь вокруг него торжественных и разодетых толп, не могущих из-за тесноты попасть в его сумрачные сени.

Новых значительных зданий в городе нет, за исключением красного кирпичного клуба имени Зиновьева, пулаамфитеатром раскинувшегося на рабочей окраине. Старый «Народный дом» отдан под автогараж. В городе процветает лишь карликовое строительство: маленькие дома из белого теса, из саманного кирпича вереницей бегут от «новостройки» к реке Сакмаре. За железнодорожным полотном выросло около двух десятков домиков, построенных жилкооперацией, да в Форштадте появились скромные хибарки из теса. Вместимость клуба имени Зиновьева гораздо больше старого театра-конюшни. Жизнь переходит на окраины: го-

родской театр каждую зиму «горит», дает убытки, поедая прибыль кинематографов.

Город начинает залечивать раны гражданской войны. Отремонтирован большой дом, бывшая Американская гостиница, принадлежавшая купцу Хусанову. Построен заново флиртелье для старого водопровода, строится новая водонапорная башня. Но Оренбургу долго еще придется платить проценты за расходы гражданской войны, — ведь он был для нашей революции своеобразной миниатюрной Вандеей.

В Оренбурге тоже была своя революция. Отзвук Ленинградской и Московской. Когда получилось известие о перевороте в столицах, то в Городской Думе собралось с десятком людей, они долго обсуждали вопрос о том, как бы арестовать губернатора и полицмейстера, но так на этот подвиг и не решились. С приездом сельских из Сибири начались митинги. По улицам носили портрет толстого курского помещика с лицом, похожим на огромный кочан увянувшей капусты, и дико ревели:

— Да здравствует председатель Думы, вождь революции!

Сельские адвокаты говорили на улицах, в цирке красивые речи, плакали от умиления над собственными словами и жестами. Чиньивники местных учреждений писались спешно в партию социалистов-революционеров, их жены и возлюбленные старательно вышивали красные знамена. Партия социалистов-революционеров росла в городе быстро, как падающий под гору снежный ком. Для клуба был занят нижний этаж Центральной

гостиницы на скрещении Николаевской и Гостинодворской улиц. В длинном зале стояли два зеленых бильярдных стола и по простенкам несколько тяжелых мраморных столиков.

В клубе беспрерывно заседал комитет партии. Во главе комитета оказался чиновник банка, избранный председателем за распорядительность и организационный талант. Это он догадался первый заказать печать партии, которой до сих пор не было в городе. Это он нашел маляра, в одну ночь изготовившего красивую вывеску для клуба. Печать была большая, с детскую ладонь, из настоящего американского каучука, выглядела необычайно внушительно, — и члены комитета долго рассматривали ее с удивленным восхищением, делая отпечатки на клочках бумаги.

Сам Соловейчик, — назовем его так, — высокий, негнувшийся человек средних лет, — принес из банка деловые папки исходящих, входящих, главную бухгалтерскую книгу необычайных размеров для записи новых членов и кассовую для учета расходов и доходов партии. Бледный, торжественный, он всегда был в форменной тужурке, застенчиво на все пуговицы как в дни проверки годового баланса. По клубу он носился с размеренной точностью, отдавая распоряжения своим нежующим возражения тоном. Соня Вейнберг, зубной врач, принесла в клуб знамя партии. Знамя было темно-малинового цвета, большое, красивое, обшито золотистой бахромой с лозунгом: «В борьбе обрести ты право свое». Соловейчик

быстро оглядел его, прошелся карандашом по буквам, кивнул молча головой, и Соня вошла за этот подвиг в комитет партии. Потом пришел в клуб полный и важный мужчина с рыжими бакенбардами и черной тростью, земский врач Бажанов. Вопрос о его вхождении в комитет не вызвал возражений. За врачом пожаловал неудачливый местный адвокат Кругликов. Он был чрезвычайно разговорчив, легок в движениях, повидимому, очень любил свои красивые остроносые штiblеты, так как всякий раз выставлял ногу вперед, поматывая блестящим носочком. Он подбегал к Соловейчику и начал сразу, минуя все формальности:

— Газету выпустить необходимо к приезду ссыльных, наших дорогих товарищей. Назвать ее: «Борьба». Кратко и вразумительно. Идентично с лозунгом партии. Типографию я уже подыскал. Вы будете писать статьи, — обратился он к Соловейчику, — по вопросам программы и ее дальнейшего углубления; вы, — здесь он сделал мягкий наклон головы в сторону Бажанова, — по вопросам практической культуры: медицины, земледелия, народного образования. Я, — он откинулся на стуле, — по вопросам идеологическим...

Голос у него был сочный, мягкий, и слово «идеологический» прозвучало внушительно.

— А вы, — здесь Кругликов встал и изогнулся мягким коромыслом перед Соней, — вы возьмете на себя технически-секретарские обязанности: прием рукописей, их разметку. Редакторами будем мы все четверо.

Таким образом Кругликов был

введен в члены комитета. Партия росла. Она скоро овладела властью в городе. Кругликов стал городским головою, Бажанов председателем земской управы, Соловейчик председателем земельного комитета. Все эти люди очень удивились, когда к октябрю месяцу 1917 года вышла на свет подлинная революция, когда местные рабочие и солдаты, наехавшие в город с фронта, стали требовать перехода власти к Советам. Удивились и испугались. Со страха полезли под крылышко казачьего атамана генерала Дутова. Этот низкорослый, толстенный человек вдруг стал для них главою революции. Дутов одно время даже намеревался записаться в партию социалистов-революционеров. Потом решил, что это лишнее. Он сам себя произвел в генералы. Правда, позднее он потребовал утверждения в этом чине от самарского волостного писаря с красным галстуком Климушкина. Климушкин с хлестаковской легкостью сделал для него это незначительное одолжение.

Генерал Дутов был замечательной личностью. Отыявленный трус, умевший выкрикивать звонкие фразы, укрываясь за спины рядовых казаков, он несомненно метил в Наполеоны, и если история судила ему несколько иную участь, то это не его вина. Он погиб от руки казака где-то в Монголии. В Оренбурге он устраивал пышные кутежи, банкеты, его фуражка с синим околышем («синяя говядина» — так дразнили раньше оренбургских казаков) предназначалась для местного музея и была куплена одним из купцов за несколько тысяч рублей на аукционе.

Дутов выпустил собственные деньги желтого цвета с изображением лисицы. Это был несомненно удачный символ. Лисица по существу глупа, она хитрит всегда неумело и наивно. Это книжная легенда, что она хитрый зверь. Настоящий охотник знает цену ее хитрости. Таков же был генерал Дутов. Когда Оренбург был в 1918 году в руках красных, генерал мирно проживал в степи в киргизских кибитках, пил кумыс, водку, жрал баранину, стараясь потолстеть еще больше, чтобы походить на настоящего генерала. После того, как красные покинули город, он немедленно явился в него и объявил себя диктатором. Начались расстрелы. В 1919 году, когда к городу снова подошли красные войска, Дутов первый удрал из Оренбурга, заявив накануне в Городской Думе: «Оренбург будет Верденом русской революции». Удрал он из города ночью в закрытой кибитке в город Троицк, а когда понадобилось, то и дальше, вплоть до Монголии.

В январе 1919 года Оренбург был окончательно освобожден от дутовщины, но и после того подвергался осаде и набегам со стороны казачьего населения. Только благодаря наличию в городе железнодорожных рабочих — а их там не одна тысяча, — он был окончательно закреплен за соввластью. Подлинная революция, рабочая революция, описана в книге, изданной в Губкоме к десятилетию Октября: «Пролетарская революция в Оренбурге».

Гражданская война в Оренбургском и особенно Урало-Каспийском крае была ожесточенной и упорной. Скотоводство и земледелие сильно

пострадали, торговля была вконец разрушена. Меновой двор навсегда затих. Здесь, конечно, сказались, прежде всего, влияние Ташкентской железной дороги, уничтожавшей базарный способ торговли крупным товаром.

Людской материал тоже не оказался достаточно прочным во время революции.

Врач психиатрической больницы рассказал мне о многочисленных случаях помещательства под влиянием классовых столкновений. Раны революции обнаруживаются на людях и до сих пор, особенно под влиянием воскресающего алкоголизма. Часто приходая в больницу люди, не могущие и сейчас отделаться от страха смерти, по ночам они видят свои дома и имущество, охваченные огнем. Один крестьянин навсегда утерял душевное равновесие оттого, что ему постоянно кажется, что он умирает от голода. Есть и больные революционеры. Один коммунист страдает манией преследования, принимающей самые различные формы. Так, теперь он каждую минуту ожидает, что его выгонят из партии за то, что он как-то подумал, что хорошо бы приобрести собственный дом. Старый казак возмечтал в наши дни сделаться «крестоносцем»: в бреду занимается организацией крестового воинства, призывая всех вооружиться крестом и Евангелием. А один интеллигентный казак написал целый трактат о казачестве, где цитирует Вл. Соловьева и Андрея Белого, доказывает, что казачество — это мужское начало русского народа, что необходимо создать новое, революционное казачество, иначе

русская нация культурно станет бесплодной...

Как-то вечером, когда на западе над степью пролился кроваво-красный кубок погожего заката, мы с Силантьевым забрались на старый крепостной вал. Пред нами высились мрачное казарменное здание духовной семинарии, неплохо описанное Гусевым-Оренбургским в романе «Страна отцов». Против семинарии темнело старое здание бывшего епархиального училища. Ниже по Уралу — два здания духовного училища и большой кадетский корпус. В этих казармах наемные педагоги калечили наше поколение, пыкая его гомилетикой, богословием и фортификацией. Вот они, последние останки бурсы Помяловского. Их мертвые костяки дожили до наших дней. Я смотрел на эти здания, как на средневековые застенки. Какому смрадному и тусклому существованию обречался в этих стенах молодой человек. Еще двадцать лет тому назад эти заведения ничем не отличались от бурсы, нарисованной Помяловским.

Никаких игр, — ни шахмат, ни футбола, ни тенниса, ни коньков, — ничего не было в этих душных стенах. Зубрежка, драки, публичная педерастия и онанизм процветали вовсю. Кроме карт и водки не было других удовольствий в жизни того поколения. Даже классиков не разрешалось читать воспитанникам. Только революция вырвала с корнем эти пышные поросли духовного дурмана. Теперь, кроме этих зданий, ничего от них не осталось. Разве иногда на улицах города встретишь старого семинаристского педагога,

со смертельным испугом взирающего на новую жизнь. А новая жизнь начинает мало-помалу зарождаться в этих зданиях. Скоро в семинарии открывается авиационная школа. Вместо сказок о том, как Илья-пророк летал на конях по небу, новое поколение здесь будет учиться летать на аэропланах. В духовном училище уже открыт сельскохозяйственный техникум. Есть в городе индустриальный техникум, медицинский, три института народного образования — русский, татарский и башкирский, техникум путей сообщения, тридцать восемь школ второй ступени. За городом строятся два аэродрома.

Но быт в городе еще остается тяжелым и удушливым. Новое поколение еще не заменило целиком старое людского материала. Обыватель по-прежнему с испугом смотрит на новый город и каркает всякие беды новому существованию. Но обыватель ведь никогда и не был другом революции. Старый оренбургский чиновник, двадцать лет прослуживший архивариусом духовной консистории, на вопрос в анкете: — Признаете ли вы советскую власть? — ответил:

— Признаю единую власть бога, всяким же земным властям с прискорбием повинуюсь.

По существу его ответ был искренним и правдивым. Обыватель до сих пор шепчется по закоулкам, о начальстве разговаривает приглушенно и с опаской, как он разговаривал с ним на страницах Г. Успенского. Карты, водка, непобудное пьянство, грязь, неумение жить весело, радостно уйдут из нашей жизни, видимо, не так-то

скоро. Культура растет медленно, и жизнь остается до сих пор прежней. Стены города, как и двадцать лет тому назад, пестрят афишами о человеке-фонтане, глотающем сразу по дюжине лягушек, по десятку химических карандашей, выпивающем единым духом, как Илья Муромец, два ведра сырой воды. Губернатор изгнан из Караван-Сарая, суд предоставлен в пользование трудящихся, но мы еще не научились заполнять своего досуга ничем иным, как только выпивкой, игрой в лото и созерцанием фокусников и жонглеров. Кисно — это единственный род искусства, доступный широким массам.

Самые радостные показатели новой жизни, это — спорт, физкультура. Урал по вечерам кипит толпами купающихся и катающихся на гичках. Это — новая молодежь. Она, действительно, как заметил Силантьев, «уже не боится милиционеров». Милиция пыталась на моих глазах перенять купающиеся толпы на другое место, ниже водопровода, чтобы не загрязнять воды. Толпа смехом встречала конных милиционеров и никак не хотела расставаться с прозрачно-голубыми волнами Урала. Группа подростков, как дикари, скакала по берегу и в экстазе вопила гимн солнцу:

*Летом все ерунда —
И касторка и клызма!
Солнце, воздух и вода
Лучший врач организм!*

Немало в городе еще осталось тяжелого, порой анекдотического. Местная газета «Смычка» часто

рассказывает об этом. Так, клуб со-вработников ухитрился пригласить к себе старого соборного регента, пьяницу попа, известного в городе под кличкой «Степочка», для работы в клубе. Степочка, ничтоже сумняшеся, после всенощной в Троицкой церкви ходил учить со-вработников петь Интернационал. В местном женотделе всерьез при мне обсуждался вопрос о борьбе с пудрой, краской, шелковыми чулками и одеколоном (!!). Это, конечно, наивный реализм — в стране, изывающей от нечистоплотности, грязи, отсутствия простой гигиенической одежды, бороться с роскошью и одеколоном. Но даже в этом увлечении молодой организации есть нужный нам фанатизм. Эта организация раскрепощает женщину от душевного, семейного быта, снимает повязку с лица восточной рабы. Революция навсегда лишила реку Урал значения Грани, отделявшей Европу от Азии, — она освободит в конце концов русскую жизнь и от внутренней азиатчины.

III НА ЛОДКЕ

Всходило красное степное солнце. Тихие воды Урала, сизо-голубые, похолодавшие за ночь, блеснули розоватыми искрами. Волны, ласково переливаясь, беззвучно убегали вниз. На лодку мы грузились против Оренбурга, рядом с деревянным мостом. Как трудно людям отрываться от города, от острых чувствальнейших обязательств. Своих компаньонов мы положительно похищали из их семей, из учреждений, из их жен и квартир. Мы бежали из города

ранним утром, сизыми сумерками, как малолетние заговорщики. Через десятки лет человек, вероятно, будет уже не в силах уходить из города. Но на этот раз к шести часам утра мы все были уже на лодках. Из степей, несмотря на ранний час, тянулись обозы. Из Н-Уральска шли первые партии яблока-падалицы. Бородатые казаки ближайших станиц спешили в город за извозом. Навстречу им татары на верблюдах везли мочалу для выделки кулей и рогож. Над городом клубились облака розовой пыли, дымлились трубы, по корявым мостовым затарахтели тяжелые телеги, застучали рабочие на возрождающемся спиртном заводе.

Отчаливаем от берега. Вперед — узорчатое чудище, железнодорожный мост, последнее напоминание о городе. Дальше — «Вольный Яик», — так в старину до 1775 года называли реку, так пытались переименовать ее в первые дни революции. Здесь Урал обмелел до последней степени. Под мостом он разбился на три узких рукава. Мы пробираемся левым ручьем, самой серединой его. Подъезжаем к мосту.

— Стой! — несется сверху. Красноармеец высунулся через железную решетку и машет нам винтовкой. В чем дело? Я только что вручил караульному начальнику «допуск» под мост.

— Сколько у вас собак? — кричит деловито сторожевой воин.

— Три.

— Айда, проезжай!

Мы так и не могли понять, почему он заинтересовался количеством собак, упомянутых в нашем документе. Вероятнее всего, он остано-

вил нас просто от скуки, для собственного развлечения. За все лето под мост мы проезжаем первыми, если не считать двух пьяных чиновников, заснувших в лодке и унесенных волнами под мост. В них караул стрелял из винтовок, но они не проснулись. Их настигли на версту ниже моста и отправили в участок для вытрезвления.

Благодаря окрику, нам пришлось повернуть лодку к берегу, и мы крепко врезаемся в песочную мель. Под мостом тащимся волоком. Но вот нам удается выбрать на глубину, сворачиваем под яр на стремнину, и нас подхватывает быстрое течение. Пронсится перед глазами зеленый тальник, левым берегом величаво проплывает мимо нас «Губернаторская роща», на правом высится «Маяк», дачное место Оренбурга. Мы удараем в весла. Мы на свободе. Зеленые — дубовые, оскоревые и осиновые леса, голубые небо и изумрудно-голубоватый Урал наполняют нас до краев чувством покоя и воли. Даже так близко от города людей уже нет.

Через полчаса с правой стороны в Урал вливается стремительная Сакмара, и Урал сразу становится покойней и полноводней. Ширина его здесь уже тридцать — сорок сажень. Около устья Сакмары любимое «азиатской водокачкой»: двуротый верблюд ходит маятником вокруг деревянной изгороди, таская за собой канат, — качает воду для полива бахчей и огородов. Порой вскидывает вверх свою безобразную «лебединую» шею и ревет безнадёжно, затем снова принимается за работу.

Поселковый учитель, старожил этого края — Павлуха Кривококов с

места в карьер начинает свою философию «степного дикаря», как он иронически называет себя:

— Долой культуру! Долой всякие губоны и женотделы! Заели они нас вконец. Теперь будет. Вот она всамделишная жизнь: небо, Урал, леса и степи! Люблю Яик. Уважаю только земляков-казаков. Жить надо по-ихнему, во-как: утром лезешь на реданку (сторожевая вышка), попишишь там чашик-другой под лучами утреннего солнышка, идешь потом к бабе поесть молока и лепешек. Едешь на быках на бахчи, там налопаешься до отвала арбузов, дынь, огурцов и прочих степных фруктов, гонишь домой барашка, вечером его «резишь»... и опять — на Урал, варить биш-бармак. Ночью ловишь сомов, кушаешь барашка — и так до утра. При таком образе жизни никаких тебе ни вредных, ни полезных мыслей в голове. Х-харошо. Люблю!

В таком же полуироническом тоне Кривококов рассказывает нам о прежней жизни оренбургских казаков, их быте, привычках и занятиях. Вспоминает попытки приручить Яик и сделать его судоходным.

— Впервые на пароходе по Уралу поехал архиерей Владимир. Это был беспокойный мужчина высокого роста, изывавший от сахарной болезни и от неутолимой страсти к путешествиям. В нем погиб русский Колумб. Он и полов все время перекидывал с места на место, считая это за благо. Так вот — на собственных средства, украденные им из монастырей (он очень любил женские монастыри!), он завел себе небольшой пароходик и на-

правился на нем по епархии. Поехал он от большого ума не вниз, как мы с вами, а вверх. Едва-едва не добрался до Верхне-Озерной станицы. Там его ждали уже с неделю. Старый бородач сторожил его с колокольни. Другого засадили в степи на омет. Пошли слухи, что архиерей пересел в кибитку. И вот однажды сторожевой донес: «Архиерей скачет». Вся станица, все окружные попы в полном облачении двинулись его встречать. Встретили, но это оказался не архиерей, а орский купец, богатый татарин. Разгадали это лишь после того, как перед его кибиткой отслужили все, что там полагается по чину: аксиос и все прочее. Архиерей был чернявый, как азиат, в лицо его никто еще не знал, а халаты у них одинакового покроя. Очень удивились, когда из кибитки вдруг послышалось:

— Никиряк син? (Чего тебе надо?) Этими словами встретил купец подошедшего к нему за благословением попа.

Ну, а Владимир, оказалось, застрял с пароходом и простоял на мели целую неделю. Его выручили киргизы зауральные. — Большой поп тонет, — кричали они по аулам, собирая народ. На быках тащили пароход назад на глубину. С той поры перевелись Колумбы в нашем краю. А теперь Урал совсем обмелел. Вот этой косы не было прошлый год.

Урал действительно иссыкает на глазах нынешнего поколения. Во время революции с его берегов повыврублено для топки масса леса, берега осылаются, образуются заносы, отдели, перекаты. А нынешний год был на редкость сухим и

маловодным. Снегу в степи совсем не было. До святков ездили на колесах. Скот в степях изнывает от безводья. Хлеб не уродился, редко кто собрал с полей свои семена. А между тем от разлива Урала зависит всецело благосостояние края. На реке сосредотачивается вся жизнь. Все большие станции края лепятся по его берегам. Леса, луга, лучшие земли для посевов питаются его водами. Все огороды находятся на его берегах. На протяжении 2.230 верст Урал приютит вокруг себя множество когда-то богатейших станиц оренбургского и уральского казачества. Гражданская война сильно порушила хозяйства казаков, и только теперь они снова, очень медленно начинают восстанавливаться. А раньше это был богатейший, хлебный и скотоводческий край. До сих пор около станиц еще видны развалины огромных амбаров, вмещавших сотни тысяч пудов. Нигде нет по селам столько мельниц-ветрянок.

Кривобоков рассказал нам об ожесточеннейшей гражданской войне, которую ему пришлось наблюдать собственными глазами. Воевало все население окружающих, громадских станиц. Причем некоторые станицы с самого же начала оказались на стороне красных. Одна из зажиточных станиц, станица Городищенская, подвергалась казачьей осаде и набегам карательных отрядов. Чем это объясняется? Вероятнее всего, здесь сказалась рознь коренного казачьего населения и украинцев-казаков, приписанных к казачеству позднее. Кроме того, в революцию всплыли на поверхность и обострились все

домашние ссоры и раздоры из-за лугов, пастбищ, посевной земли. О прежних ссорах казаков очень картинно поведает нам Кривобоков. Но те стычки были добродушными, больше «теоретическими». Собираются, бывало, на берег казаки, высвят с противоположных яров целыми станицами и давай переругиваться.

— Эй вы, кошмоное мясо! Выходи на кулачки. Всех на одну руку уберу, — кричат молодые казачата из украинцев.

— Куды вам, кацапам. Тоже в казаки лезут, яви вас в душу-то. Сидели бы у жинок за красными юбками, — откликаются казаки.

— Известно, — куда нам до вас: вы Геок-Теле брали. С атаманом Серковым в кошку завернулись да домой...

— Уж не вы ли, хохлы, вояки-то... Намедни прохожу задами, а Иван Мироныч, староста ихний, кричит своей бабе: «Матрена, Матрена, дай пику, таракана заколю».

Такие перебранки продолжались по праздникам целыми днями. И все это нашло своеобразное отражение в гражданской войне. Но ясно, что это было лишь внешним рисунком для больших и страшных событий, причины которых лежали глубже и, конечно, гораздо дальше, чем местные казачьи интересы.

Теперь на Урале жизнь утихомирилась. Станицы начинают снова и по-новому оживать, но не скоро зарубцуются на них следы революционных событий. Глубокой гранью отделила революция старину от наших дней. Все выглядит теперь и здесь по-иному.

IV НА ГОЛУБЫХ ВОЛНАХ

Далеко не бесспорно, что на Урале — голубые волны. Утрами они розовеют от легкого прикосновения широких степных зорь, будто в сине-зеленом стекле их вод загорается теплый румянец. Днем, когда с Бухарской стороны дуют ветра, они делают сизыми и зымают вверх прозрачно свинцовыми гребнями. Вечерами они темнеют ласковой темью, а ночью блещут самыми разными отливами, смотря по погоде. Но постоянно из их глубины просвечивает легкая голубизна сизоватого оттенка. Старый Яик не устает встраивать своими древними лохмами.

Восьмой день плывем на лодке вниз по Уралу. Мы не спешим. Разве можно торопиться, когда стоят изумительные погоды: круглый день высокой раскритой широчайший голубой шатер безоблачного неба, согретого щедрым, жарким солнцем. Вот оно — человечески-первобытное, большое счастье: плыть по голубым волнам, калить обнаженное тело на солнце, не открывая глаз от теплых ширей Бухарской стороны и кудлатых зеленых деревьев, бегущих по правому самарскому берегу. Радостно следить веселую игру беспечных птиц: слушать жирное крикянье уток, тонкое позвякивание кулика-воробья и вертлявого песочника, задушевное курлыкание вяхирей, горлиц и клинтухов, ночами — задумчивый переклик-посвист неторопливого крошнелена. По утрам и вечерам — дремать под грустный бред курлыканы журавлей, под звонкие выкрики красивых поганок и раз-

жиревших ленивых лысух. Синицы, дрозды, сороки и вороны кричат нам с песчаных берегов разными голосами. Величавые хищники провозжат с высоты наш бег удивленными острыми глазами. Жалобный чибис ни на минуту не перестает красиво грустить над поемными лугами. В темную полночь из-под гор вдруг донесется робкое пробное занывание молодого волчьего выводка, тоскующего по открытым местам, где пасется скот. Синими сумерками мы с фонарем в руках пробираемся по сизой темноте вод, ставим на ночь переметы. Слушаем мягкие всплески судака и сазана, игру хищных щук и бойких жерехов по перекатам, шорохи вспугнутой мелкой рыбешки в заливах, а на заре — с волнением вытягиваем на бечеве жадных, темных сомов, соблазненных жирными кишками краковой утки, насаженными с вечера на удочки. Но нет ничего лучше на свете, как, устав за день нетрудной истомой от игры весел с водой и испулавшись, сидеть у костра на песке, варить уху или похлебку из дичи, спать под ометом пахучего сена, проснуться на заре и, снова очутившись во власти солнца и неба, плыть и плыть по голубым волнам, радостно следя игру вод, слушая хор пернатого царства — красноногих куликов-сорок, серых авдоток и голубых цапель.

Вечером, перед остановкой на ночь, мы причаливаем к берегам Городищенской станицы. Необходимо пополнить съестные припасы. Павлуша Кривобоков никак не признает ухи без свежей картошки, похлебки без свежей капусты и чаепития без свежего молока.

Издали задворки станицы похожи на «Остров мертвых» Беклина: огромный обнаженный выгон, две скучные унылые рощи, охваченные круглой лентой реки, и одинокое стадо уснувших гусей, но подъезжаешь ближе, и мертвая сказка рассеивается: по берегам тянутся длинными рядами огороженные плетнями большие огороды, от них к воде сделаны в земле спуски-ступени, издали казавшиеся каменными. Рослые казачки в разноречиво ярких платьях, высоко подоткнутых юбок спеша таскают воду с Урала на коромыслах. Это промысел. Заработок для вдовых одиноких женщин и многочисленных по станицам перестарок девиц. Я видел девушку-подростка, у которой больше трехсот капустных лунок, десятки огуречных гряд.

Ежедневно в течение всего засушливого лета она с сестрой выносила с реки около тысячи ведер в надежде выручить осенью тридцать-пятьдесят рублей.

Увялая ногами в илистой почве, мы пробираемся с Павлухой к огороду, где возятся две казачки и около них два голых ребенка.

— Здорово, землячки! — зычно окликает их Павлуха.

— Здравствуйте, — спокойно отвечают женщины, опуская подоткнутые юбки.

Узнаем, у кого можно купить продукты.

— Куда плывете-то? — спрашивает рослая, красивая, чернوبرовая женщина.

Мы говорим. Иронически улыбаемся:

— А, случаем, не белые разведку делают?

— А что, разве ждешь белых?

— Кой леший они мне сдались? Довольно, что муж между ними болтается.

— А где он?

— В Уссурийском крае остался. Меня к себе зовет. А зачем я туда поеду? Я категорически ему в этом отказала. Хозяйство я и одна справляю. Сама себе госпожа. Трудные годы провела, а теперь зачем буду мотаться по белу свету. А вы не коммунисты?

— Вот он коммунист, — показал я на Кривообокова.

Казачка искоса глянула на грузную фигуру Павлухи и засмеялась.

— Что-то не похоже. Видно, что жрать-то он как раз, а до коммунизма вряд ли горазд. Рожка уж очень наливающая. А вы сами-то откуда будете?

Отвечаем.

— Что же у вас в городах богатым быть тоже не допускается? А сказывали, будто опять богатеи появились: в автомобилях ездят, по три кушанья за обедом едят, каждый день одежду меняют.

Ночью на наш стан приехали на лодке рыбаки. По реке легким светлым бураном летела метелица-поденка. Ее гнезда мы видели по ярам Урала: иловатые обрывы берегов сплошь испещрены черными узкими дырками. Сегодня из них вылетела бабочка, чтобы прожить свои короткие ночные часы. Воздух рябит белыми мотыльками. Река от них стала белой, как парное молоко. Павлуха ругательски ругает ночную бабочку, навившуюся в похлебку.

— Сегодня рыба не будет жевотку хватать, — говорит молодой,

кудрявый казачонок: — Метелица отродилась. Будем гулять, песни играть.

С рыбаками из Городищенской станицы приехал Гриша Кутансов. Он вышел на берег в сопровождении сызлой, бесцветной собачонки. Представился нам всем и попросил закутить. Гриша худой, изможденный мужчина лет двадцати пяти, сын казачьего врача, умершего перед революцией. Его отец служил лет сорок в одной из крупных приуральских станиц и был широко известен в округе своими чудачествами и огромной библиотекой — невиданным для деревни скопищем книг. Книги эти теперь погибли: их растащили во время революции. Я раза три встречал по линии у казаков отдельные их экземпляры с именным штампелем их владельца. Гриша служит курьером или, как он говорит, «дежурным агентом в сельсовете», страшно стыдится своего положения и ненавидит тихой скрытой ненавистью свое начальство.

— Собаку мою, Дружка, я бы продал, если бы мне дали значительную сумму. Таких умных собак вы нигде не увидите. Это смесь японской породы и немецкой лайки. Но я, как личный дворянин, не могу жить в рабстве. Гражданин в республике должен быть независим. Вот извольте взглянуть на собаку.

Гриша бросает перед собачкой кусок хлеба и говорит ей: — Салтанов ел. — Салтанов — это председатель сельсовета. — Собачонка, брезгливо наморщившись, отворачивается от хлеба. — Васка чухоточный ел. — Собака отходит в сторону и ложится на траву. — Я ел! Здоров я!

Здоров я! — выкрикивает Гриша. Собака бросается и съедает хлеб. Гриша ласкает собаку, восхищенный ее поведением. Затем он кладет на нос Дружку кусок хлеба и кричит по-военному: — Рота, пришел тысячу двести шагов по невидимой цели. Пли! — Собачонка подбрасывает носом кусок хлеба и ловко подхватывает его на лету. — Купите у меня собаку? — Собака нам не нужна, и Гриша молча грустит над костром. Из темноты доносится веселый голос казачонка, сматывающего по пескам переметы:

*На Урале лед растаял,
С крыши капала вода,
С крыши капала вода —
Милый спрашивал года...*

— Эх, года меня обогнали, — с тоской говорит Гриша, — состарились мои годики, а то ушел бы я в большой город. Мой отец был дворянин, казачий дворянин, воспитывал меня нежно, а теперь мной помыкает невежественный, темный Салтанов. Не было бы революции, я был бы доктором или чиновником. Хотел открыть я торговлю, но разве в наше время это можно сделать. Все в свои руки забрало начальство. В лес сунешься, тебе говорят: «В Госфонде». Все стало «господне», как говорят казаки. Нет жизни одинокому человеку.

Погрустив над судьбой бабочек, гибущих тысячами на костре, и над своей разнесчастной судьбиной, Гриша клочет казачонка и едет домой. Казачонок, отчаливая от берега лодку, продолжает выкрикивать свои «припевки»:

Сколько, милка, тебе лет,
Вечать будут или нет.
Милка ему на ответ —
Мне семнадцать годов лет,
Ты годов моих дождишь...

Лодка исчезает в белесом сумраке. Уехали. Стало легче.

Павлуха обругался:

— Сегодня нам не везет. Метелица похлебку испортила. Дворяне с собаками шатаются. Настроение в обществе упадочное. Иду спать в омет. Буду мечтать о казачке с черными бровями. Одна моя отрада. Ну вот еще — волки завыли...

Из-под горы действительно доносится далекий звериный вой. Злаяя собаки. Внизу перекликались обеспокоенные лаем кулички. Над рекой усиливалась бесшумная метель белесых бабочек. Шла полночь.

У ПОСЕЛОК КАРДАЙЛОВСКИЙ

Верст на сто ниже Оренбурга Урал распадается на три рукава, образуя большие острова, заросшие густым лесом. На левом рукаве с Бухарской стороны, широко, версты на три по берегу, раскинулся большой поселок оренбургских казаков. Больше семисот домов разбегалось по крутому берегу реки. За их стенами уютится больше пяти тысяч жителей. Все они издавна занимаются, как большинство оренбургских казаков, хлебопашеством и скотоводством. Это основное. Эти занятия определяют быт и бытие населения. Верст на пятнадцать на юг от поселка лежат желтые пажити, и только за ними начинаются степи,

целина, никогда не знавшая плуга. Двенадцать ветряных мельниц и ряд деревянных амбаров смотрят на пашни, на степи, на скирды немолочного хлеба. До революции эти амбары были доверку заполнены зерном. В степях паслись большие стада рогатого скота, тысячные отары овец, сотенные косяки лошадей. На помощь неуклюжим ветрянкам в Кардайлове появилась паровая мельница. В тридцати верстах ниже в Илеке самарский купец Чельшев, известный ревинтель «трезвости», соорудил грандиозную мельницу и предлагал казакам построить через Урал мост для вывозки зерна на Самару. Казаки отказались. Но хлеб не хотел гнить по сусекам амбаров. Он распырал стены и требовал для себя выхода. Он подталкивал казачество на спайку с общероссийским рынком. Революция отняла у края излишки зерна. Она срезала кулацкую богатую верхушку казачества. Если теперь и есть у кого излишки скота или хлеба, то он ими уже не кичится, а прячет по хуторам, скот выкармливает в глухой степи — подальше от городского взора.

Поселок стоит на этом месте лет полтораста, не меньше. О Пугачеве он хранит обрывки самых смутных воспоминаний, вероятнее всего, он зародился как раз в его времена или вскоре после 1775 года. Живых памятников того времени нет в поселке, население и не пытается их создать, как в других селах. В станице Рассыпной мне указывали на огромный засохший дуб: на нем, по рассказам стариков, Емельян повесил непокорного попа. В Кардайловке живут выходцы-украинцы,

давно оказавшиеся и почти совсем утратившие свое родное наречие. Но и здесь еще живы казаки, побывавшие в свое время в плену у киргизов и хивинцев. Старик Нагайцев пришел мальчишкой из Хивы. Отец его, захваченный киргизами в степи и перепроданный хивинцам, женился там на русской пленнице, а сын его вернулся снова в родной поселок.

Против Кардайловки, на правом рукаве Урала, картину распознали по горам знаменитая Нижне-Озерная станица, основанная в 1754 г. в виде пограничной крепостцы, прославленная Пушкиным под именем Белогорской в повести «Капитанская дочка».

Мне доводилось бывать в казачьих станицах и раньше, лет пятнадцать тому назад. Теперь я живу в саманной землянке секретаря местной ячейки, снимая ее за пять рублей в лето. Я пытаюсь найти новые черты на лице казачьего поселка и прихожу в отчаяние. До чего же медленно движется жизнь! До чего упрямо-недвижна эта тяжелая бабича деревенского быта! Сотни лет тому назад она расселась квашней на полатах и никак не хочет сдвинуться с места. Те же кривулины грязных улиц, тот же спертый, душный воздух в наглухо забытых лето и зиму избах. Те же грязные соски у грудных ребят, те же керосиновые, пятилинейные лампочки, только суровее подчеркивающие мрак и темь деревенского бытия. И даже в избушке секретаря с темной божницы по-прежнему поглядывает на тебя неизменный бескровный Никола-угодник. Каждое воскресенье я наблюдаю чинный цветной хоровод баб и девок с ребя-

тами на руках: они мимо моих окон возвращаются из церкви. На их лицах написано елеиное, бессмысленное успокоение. А в полдень той же дорогой они опять шествуют большим хороводом, но уже не чинным, а пьяным, пляшущим, Малявински-разухабистым. Помахивая яркими платками, которыми они утром благочестиво вытирали ребятам рты после «святого» причастия, они теперь орут песни. Песни они поют и новые, и старые, но характер их прежний: надрывно-пьяный, горластый, дикий. Секретарь ячейки постоянно грустен. Он ходит с подвязанной щекой и больше похож на героя Чехова, нежели на коммунара. Он одинок в этом казачьем поселке, как брошенный в степи король Лир.

— Нас ведь всего-навсего здесь двое, коммунистов-то. Есть еще с пяток кандидатов. Надо бы давно ликвидировать неграмотность, невежество масс, — разве мы это не понимаем, — но нам и свою подчистить некогда. Редко мы собираемся, только для взаимной информации. А от всего этого, — он показал рукой на пьяную гурьбу пляшущих баб, — у меня на душе постоянно мутно и грязно. Кинутье мы здесь. У меня один верблюд жизни на пять душ семейства, кручусь волчком, а о работе подумать некогда. Были у нас раньше коммунисты по сильнее меня. Вот Петра Николаина вы видели. Он охотой ушел в Красную армию, там он знал самого Фрунзе. Ну а вернулся домой, увидал, мать его без хлеба сидит, — осерчал, бросил билет, дивал и ночевал у винопольки, а теперь в хозяйство ушел. Дед его был большим богатеем, — вот и в нем сказывалась порода.

Казаки не знают других удовольствий, кроме пьянки и пьяных песен. В поселке открыта «винополивка», — ее кланут и любят, но рядом с ней продолжают процветать самогонные шинки: дешевле! Кроме того, там всегда гармонь и дешевая любовь: новинка для старой деревни. Гульбища молодежи нисколько не изменили своего характера. Вечерами и ночью так же бродят по улицам парни и девки и так же горланят прежние и новые частушки, тем же диким, надрынным плачем, как в древности:

*У меня матаня есть,
Срам по улицам провесть,
Рот разинет, нос большой,
Сопли тянутся возкой.*

Или:

*Мой мил — арбуз,
А я его дыня,
Побкачусь, подвалюсь,
Он меня обнимет.*

Одна черта, пожалуй, новая для поселка: девки стали ругаться так же бесстыдно, как и парни. Теперь они с успехом состязуются в этом с парубками. Воскресный вечер обычно открывается в поселке надрынным бабьим плачем: это — вальдик бьет свою жену. Казаки привыкли к этому. Сейчас, значит, заревет гармошка, раздастся топот подошв, отбавляющих вековечную «барыню». Взвизгнет девка и закричит:

*Скоро, скоро у меня
Детинка родится,
Мой миленок же свинья,
Не хочет жениться.*

Вокруг поселка лежат серые, пыльные степи. Скудная равнина без оврагов, речушек и родников. На много верст унылого безлесья два — три дерева, случайные зеленые гости. Недавно казак, побывавший в германском плену, посадил около своих степных гумен яблоню, она принялась. Другой казак под хутором Песчанка насадил целую купу деревьев, но их порубили в голодные года, и там теперь стоит одно дерево и молодые побег от пней. Когда-нибудь, — я убежден в этом, — в степи буйно зазеленеют рощи, зацветут веснами сады, но пока степь остается такой же безрадостной, как тысячи лет тому назад во времена Чингисхана. Так же неизменна и жизнь в поселке. Новое на ее лице проглядывает робко, несмело, как случайные деревья в степи. Старая жизнь, старый быт, древние верования крепко вросли в почву, ушли глубоко в недра казачьего бытия и их отсюда трудно выкорчевать.

— Почему это вы газет не читаете? — спрашивал я пожилых казаков. В поселке, кроме сельсовета и правления кооператива, никто не выписывает газет.

— Да что там от них? Одна обидка. Только тревожат наши печенки: пишут о налогах, о товарах, об электричестве. А у нас и керосину нет.

Привез кто-то прошлой зимой из Оренбурга старый номер «Советской Сибири», где иронически описано коронавание Кирилла за границей. И что вы думаете? Большинство пожилых казаков приняло это анекдотическое происшествие всерьез. Газету исчитали до дыр. Казаки собирались группами по избам,

и местный грамотей перечитывал им в сотый раз описание коронавания. Казаки чтение слушали молча, а потом парами шептались по закоулкам. Старики снова начинали мечтать о своих казачьих волностах, о былых временах. Старухи аккуратнее уложили забытые было екатеринки в своих сундуках.

Сельсовет задумал поставить радио: удобнее всего антенну водрузить на колокольню. Церковный совет второй месяц обсуждает этот вопрос, старики не знают: радио против Бога или нет. Вся жизнь поселка соткана из таких противоречий. Самое отрадное явление, это — кредитная кооперация. Она имеет прибыль, число пайщиков растет. Она завела два трактора, но керосин и бензин так дорог, что казаки предпочитают пахать по-прежнему плугом на быках и лошадях. Один трактор пришлось продать. Потребилковка еще не крепко стоит на ногах. В поселке имеется три частных лавки.

Один служащий кооператива устроил гражданское празднество на своей свадьбе, но новых обрядов никто не знал. Так же, как прежде, возили по селу приданое напоказ, так же стреляли из ружей. А дружка, ехавший на возу с приданным, пьяный валялся на землю и валялся на улице в пыли. Новизна не новая для станичников! Алimenta — вот что по-настоящему всколыхнуло поселковую жизнь. Местный учитель, бывший когда-то председателем Совета, прижил со своей прислугой ребенка. Казаки взволновались. Сам Дон Жуан мечется по судам и не хочет покориться своей горькой участи. Собирается продать дом и

сбежать из поселка. Уехал на днях в Оренбург хлопотать об отмене приговора. Старики с нетерпением ждут его возвращения: «Да неужто и впрямь ему придется платить развратной девке?»

Но вот в нынешнее лето и сюда впервые по-настоящему заглянула новая жизнь. Два месяца в поселке жили пионеры. Пионеров не приняла у себя Нижне-Озерная станица: никто не хотел им продавать продуктов. Кардаилловка решила заключить с ними договор на поставку продуктов. Сколько разговоров и волнений вызвало на селе их нашествие. Пионеры научили ребят купаться в реке. Взрослые казаки не знают купанья. И летом они продолжают париться в душных, грязных банях. Какую ненависть у старух вызвали трусики пионеров. «Крапиво-во бы их по лышкам, крапиво!».. Но все-таки пионеры впервые здесь осуществили смьчку города с деревней. Они работали у бедных казачек пастухами и поливали их огороды. Пионеры победили. Я видел, как их провожал осенью поселок, когда они с песнями, со знаменами пошли пешком в Оренбург. Десяток баб с ребятами на руках вышли за поселок с колоною пионеров. Из-за плетней, прячась от взрослых, девки махали им вслед платками. Возвращаясь после проводов, казачки продемонстрировали свою солидарность с молодым поколением. Здесь я впервые услышал, как деревенские женщины пели новые песни подлинно по-новому. Впервые они выкрикивали слова «за власть Советов», как свой родной клич, как вызов старому, притавившемуся в эти минуты на

задних дворах. На вековом покойном лице поселка остался заметный шрам. Этого, конечно, мало, чтобы до глубин всколыхнуть вековой быт деревни. Это первая проба. Но она была подлинно радостной.

VI ПО СТЕПНЫМ ХУТОРАМ

В поселке Кардаилловском мы решили оторваться от Урала. Сдали лодки под охрану деду — старику рыбаку и, пересев на легкие таратайки, покатали в степи. Днями гоняемся за местным страусом-дрофью. Томим себя и собак нестерпимой жарою, мучимся от безводья. К ночи разбиваем стан где-нибудь у старого колодца, жжем костер из «царских лепешек» — так зовут коровий помет наш возница Иван Степанович Царев, казак из Кардаиловки.

Целую неделю стояла ясная, солнечная погода. Сегодня впервые брызнул мелкий дождичек, загнавший нас на ночевку на Бондаренковский хутор. Пятнадцать жалких мазанок лепятся вокруг песчаного оврага, когда-то хранившего воду. Теперь овраг сух. Вода держится в незначительном количестве лишь по колодцам и по конпанкам. Домики стоят полукругом, и песчаная площадь похожа на большой неряшливый двор. Бродят пестрые свиньи, тоскующие по грязи и воде, куры роются в песке, жеребята и рядом верблюды покоятся под покосившимся плетнем, голые ребята елозят в пыли.

Сладко спать в степи от зари до зари на пологе душистой травы: протор, таинственно-родные дали, звезд-

ды на темном небе, аромат трав, безмолвный шепот степных просторов, а здесь, на хуторе, сразу охватывает жуть жалкой человеческой жизни. Если бы не дождичек, мы сбегали бы из избы, где расположились чаевничать. Орут чумазные ребята, кругом навалены горы прелой, грязной одежды, по стенам бродят тараканы, окна наглухо закупорены — душно, темно, убого, тесно... Тут же скачут ягнята, их помет втаптывается сапогами в земляной пол. Под окнами на дворе рычат голодные собаки, тоскливо мычат овцы, тесно сбившиеся в карде...

Можно себе представить, какова здесь жизнь зимой. Как могут так жить люди? И ради чего? Из поколения в поколение люди приносят себя в жертву потребностям скота. Иных интересов нет у казаков-скотоводов. Все разговоры ведутся исключительно по поводу урожая, вернее, неурожая трав, безводья, одолевающего хутора. Самая праздничная тема, это — появление в окрестностях волков, но и она вызвана лишь страхом за судьбы молодого поколения животных. Смешно, дико здесь вдруг заговорить бы о книге, о газете, о научных завоеваниях. А впрочем, старуха, готовившая чай, рассказывает нам о местных «научных» приемах лечения малярии:

— Какое наше лечение? Берешь банный веник, залезаешь верхом на плетень на заре с ведерком святой воды и кропишь зорю. Но и это без заговора мало помогает, а кто ж теперь их хранит? У нас на хуторе один Фома Савельич помнит заговора, но у него зубы все выпылавали, а без зубов заговор не действует,

никак не действует, вот и мучимся, хиреем день ото дня. Говорили мне, не знай, правда ли, будто еще древесина от крестов с могилы коммунистов помогает. Да ведь крестов-то у нас на их могилах всего два в округе. Тот, што на яру, где зеленые убили председателя, давно уже весь поизглодан, а под Городище далеко ехать. Теперь у нас и живых коммунистов по станции двое — трое и то молодежь. Жди, когда они помрут. Драки прекратились, да захотят ли они еще креста на могилу. Какой теперь народ пошел — сплошь безбожники.

В избу вошел парень, красивый худряш, швырнул броском шапку в угол и упал на кровать, не снимая сапог и полшубка. Он забракован на последнем призыве за «боли в груди» и теперь загнан сюда надолго стариками. Он пришел с вечернего водопоя, вытянул не одну сотню ведер из колодца чуть не двадцатисемной глубины, вычерпав до дна смешанную с песком жидкость, и теперь ругает, клянет свое степное бытие:

— Неделею сапог не снимаю, хожу по пыли за быками. Вымыться негде: вода грязная, самому и пить неохота. Арбузаны только и спасаются. Вот жизнь-то! Так весь век в навозе и прогнись!

— А кто ж тебя на эту жизнь обрекает? — злородно перебивает Царев, казак беспечный и бедный.

— Кто? Не всем же на печи лежать, надо же скотину растить, хозяйство справлять...

— Хы! — усмехается в усы Иван Степанович: — Да убей меня бог, если я стану здесь пропадать через

животину. Насмотрелся я в свое время на нашу буржуазию. Вот вчера ночевали мы на «Еремино колдече». Я у этого Еремы десять лет в работниках ходил. Сколь у него было денег по банкам, сколь баранов по степи ходило, — не счесть. Сам он больше нашего надрылся в работе, в колодцах сколь раз его землей присыпало, а умер все одно нищим, на кладбище на дровнях отвезли. Внуки его в пастухах ходят. Только и памяти о нем «Еремин колдеч»... Нет, дураков ищи теперь в другом месте. А мне вот давай задарма это стадо...

— Откажешься? — ехидно перебил парень Царева.

— Зачем откажусь? На другой же день все смотаю. И дня за хвостами ходить не буду. Деньги — половину пропью, на другую предметов куплю. Революция научила меня уму-разуму. Что вот вы, — имеете скотины сотню, а лучше меня едите, отдыху у вас больше? Свет в вашем окошке светлей моего, аль што? Вот ты стонешь: воды нет! Новый колодец завалился, хорошо еще, насмерть тебя не пристукнуло. Подрядчик сбегал, денежки ваши плакали, — печенка у тебя и свербит по ночам. А мне што? Кусать всегда найду, лугов по мне на Урале хватит, налогу с меня рупь двадцать в год. День если я и мотаюсь, как ты, зато ночь спокойно сплю. Вот покатаюсь неделю по степу, возвращаюсь домой и заботушки никакой. Приехал на двор, лошадь распрег, похлебал чай, а там, глядишь, баба по хорошему делу на печи нарвется, — вот и живи, не тужи.

Я не верил в искренность Ивана Степановича: утром сегодня он жаловался мне на свою горемычную жизнь. Его философия нищеты была выражением ненависти к богатым, к новым Ереминым.

Долго препирались меж собой «классовые враги», затем поупоконились и начали дружно ругать начальство, которое не может помочь им построить колодца, а налоги берет, торговать не позволяет, а само товаров не шлет в деревню, самогоном промышлять не позволяет, а за бутылку водки берет больше, чем платит за пуд пшеницы.

В избу, услышав о приезде городских людей, стал подходить народ. Сидеть было негде, и большинство казаков прсаживалось на корточки у печи. Дым от махорочных цигарок сизым, душливым полотном закрыл тусклый свет лампешки.

Я ожидал, что казаки начнут расспрашивать о городской жизни, интересоваться новостями политики, но разговоры по-прежнему шли вокруг хуторских интересов. Ничто не связывало их с городом и, если бы не было в природе налогов и товаров, едва ли они вспоминали бы когда-нибудь о нем. Седой старик протянул мне потрепанную сберегательную книжку.

— А ну, гляньте, пожалуйста, пропали мои деньги, аль, може, получу не то?

Он внес при Керенском три тысячи в Оренбургский банк и полторы тысячи в 1921 году совзнаками в сберегательную кассу станичного почтового отделения.

— Что ж ты до сих пор не справлялся о своих деньгах?

— До того ль было? Боялся, за буржуя почтут. Жизнь спасали.

— А что, казаки, кладет из вас кто-нибудь теперь деньги в банк?

— Таких случаев не было, — авторитетно заметил за всех Царев. — Больше часу казак денег в кармане не держит. Даже в дом опасается с базару их нести. Нет, никак еще не устоялся наш народ, чтобы в самом деле увериться в деньгах.

Никто не возразил Цареву, только молодой хозяин заметил добродушно:

— Ну, тебе-то, Иван Степанович, об этом предмете беспокоиться не доводится. Деньги сами минуют тебя, на двор не заходят.

Поднялся шум. И вдруг его прорезал хохотливый, дурашливый, с нерусским выговором выкрик:

— Давай моя денга, хозяин!..
— Киргиз, придурковатый парнишка, пастух требовал денег у хозяина. — Моя денга за баранов надо!

— Брысь отсюда, шайтан! — закричал на него кудряш-хозяин. Все захохотали. Киргиз захныкал и ушел из избы. Видимо, он требовал выплаты своего заработка.

К полночи дождь притух. Мы отправлялись ночевать на сарай. Небо очистилось от туч. Погасли огни по землянкам. Приумолкли собаки. Темные тени казаков устали в ночном сумраке. Хутор расул до зари. Тишина и звезды.

Да правда ли, что где-то шумят города, светит электричество, идет неумолающаяся борьба за культуру? Правда ли это?

Здесь, на степном хуторе, это никого не интересует.

VII РАССКАЗ У КОСТРА

За две недели степных скитаний мы крепко сдружились с Царевым. Завтра с утра мы возвращаемся к Уралу. Сегодня — последняя наша ночь в степи у костра. В моей жизни я видел их сотни, но сейчас мне кажется, что такой, как сегодняшняя, еще не было. Над головой колдулет иссиня-темный шатер, унизанный щедро мирами ясных по-степному звезд, голова дремотно пьянеет от аромата трав, пофырывают спокойной лошади, горячо воркуя, шпигит костер. Мир шепчет на ухо свою глубокую сказку: кажется, слышно, как убегают куда-то в пространство земля, несущая тебя на горячей своей ладони. А ты, и с тобой казак Иван Степанович, и лошади, и мышь, шуршащая в траве, и жаворонок, метнувшийся от огня, все мы — сыны ее, любовно ею пригретые. Спать в такие ночи нельзя. И мы не спим. Царев рассказывает мне свою «Одиссею» времен гражданской войны, историю столь обычную для рядового оренбургского казака:

«...К людской крови я привык на германском фронте. Вернулся с войны я сильно постаревшим в свою Кардаилкову. Пришел во двор. Все порушено, разорено. Даже у борон все зубья повыпадали. От плетней и стен одни ошметки валяются. Хорошо еще, раздумываю про себя, лошадей баба сохранила да коровенку приберегла. Может, как-нибудь и справлюсь. А кусать нам с бабой уж нечего. Первые дни соседи помогали да последнего барана доедали. Поехал я в степь на гумно. Там у меня хранился старый скирдишко

немолоченного хлеба да ометнишко прелого сена. Мыши сильно хлеб поточили, а все же мешков шесть зерна я тогда понастукал. До новинки жилы надеялся вытануть. Начал плуг налаживать, бороны исправлять, а тут эта самая буза и нагрянь на наш край. Наши станичники сами едва ли стали бы воевать, если б Дутов да другие генералы их на это не поворотили. Нас ведь об этом никто не спрашивал. Все в Оренбурге решалось. Только смотрим, красные с Самары лезут на нас, а с Оренбурга белые понаехали. Сперва наших из офицеров больше совращать и страдать начали. Вот городищенские заартачились, было, заурямялись, так полстаницы перепоролы, а кой-кого совсем неизвестно куда увели. Ну, тогда и наш поселок и Краснхольмская станция поднялась, но, конечно, далеко не все. Встречает меня как-то у ветрянки Саратовцев, наш казак из богатеев:

— Чего же ты, Степаныч, на коня не сядишь?

— Наездился, — говорю, — на германской войне встался. Понатер зад до костей.

— Нехорошо, — grit, — от мира прятаться. Все идут, и ты с обществом должен стоять заодно.

А сам ощупывает меня злым глазом со всех сторон. Вижу, дело плохо. Определаться приходится. А сердце ни к тому, ни к этому берегу не лежит. Уехал я ночью в степь и живу там. На гумнах копошусь. А с Озерного красные наступать начали. Белые на Бухарской окопались. Снаряды по поселку шлепают. Я в поселок уже не показываюсь. Укрываюсь. Пахать, было, по ночам

начал: минует, може, думаю, к весне заворуха-то. Но разве с лошадьми от злого глазу схоронишься? Вижу: отряд до меня на гумна жалует. Вспомини.

— Ты, говорят, можешь не ходить, коль в тебе сознания гражданского нету, а лошадей твоих заберем. Обоз нашему поселку сформировать приказано.

Забрали обеих лошадей, сбрую взяли и повели. Стою я среди степи один-одинешенек, глазами хлопаю. Сразу как будто даже порадовался: самого не тронули. А потом в жар бросило, сердце пуще застукотало. Гибель мне без лошадей-то! Что я глазами руками с землей исцелую? На себе, что ли, я плуг по степи поволоку?

Кинулся я тогда в поселок. Пришел на площадь. Вижу, Гнедой и Савраска в фургон впряжены, ходит вокруг них безусый парнишка, неведомый, нездешний. Вошел я к начальнику:

— Дозвольте, коли так, я сам своими лошадьми управлять стану.

Ухмыляется тот:

— Езжай, грит, нам люди нужны, особо если по своему желанию.

Эх, в клочки разорвал бы его я в теи минуты. С бабой не попорщавшись, угнали нас тогда за Оренбург к Актюбинскому фронту. Ты думаешь, в самом деле война была? Никакой войны с нашей стороны не было. Смех да горе. Стоял я с полком около Ак-Булака. И все у нас глядеть по чину: и артиллерия и пулеметы были, а как донесли разведчики: — Красные из-за горушки скачут, — так весь полк в секунду похватался да ну удирать во все ло-

патки. Ну война, скажу тебе, ну война! Бежали, не оглядываясь, верст тридцать. Я позади всех на фургоне тарактел, бежать-то особо и не хотелось. Видать было за нами не больше десятка красных гналось. Прихожу я на остановке к пулеметчику, а они все в галифках ляжками раскачивают, на гармошке наяривают, песни «шарабан» поют. — Ох, вояки, говорю, ну вояки: от пяти человек полк бежит. А они посмеиваются и никаких себе. Только пуще по ладам двухрядки квалывают. Так вот все время и воевали. Прислали как-то нового сотенного из городских, видно, молодчиков. Из казаков его отродясь никто и в глаза не видел. Залез он на лошадь, и только это выехали в степь, тронули рысией, он с коня хряп на землю и кричит истощным голосом: «Караул!» Сотня хочотеч, а он, знай, орет: «Караул!» Запугался в поводьях. Ну, вояки, думаю, ну, вояки! Ушел бы я тогда с фронта, да от лошадей нет сил отворачиваться, а за лошадьми наблюдают зорко, с ними не уйти.

Из Оренбурга отступать начали. Угораздило меня тогда в отступление в офицерский отряд попасть. Вот когда страсти-то началось. Как выехали мы из Оренбурга на Орск, это было в девятнадцатом в январе, — морозы вдруг закрылились несусветные. Генералы-то в теплых кибитках удирали. Видал я сам: похоже, бардак какой-то в теплом возке увозили, шансонеток. А ребятишек, кадетчиков, пешком погнали. Мальчишки в суконных шинелишках да в башлычках. Теплого только безрукавки из бараньего меху наспех понашили, куцавейки грудь да живот

только прикрыли. Мерзли они по дороге, аж смотреть было жалко и совестно. Но тогда не до этого было. Сами генералы боялись больше не красных, а своих. Да и мы тоже: как бы не прирезали где, али лошадей не отобрали. Чего там не было! Я вот впервые тебе, как попу на духу, рассказываю, сроду никому не говорил, что со мной за дорогу было.

В Орске меня подговорили трое офицеров, и мы с другими станичниками на трех фургонах ночью обходным путем через Можаровку на Актюбинск тишком ушли. Актюбинск тоже степью обошли. По аулам у киргиз хоронились. Киргиз сперва мы забрали, а потом они нас начали беспокоить. За Темиром ночью бандиты на нас напали, — кто это был не разглядишь, — не то киргизье, не то свое войско. Офицера и двух казаков убили, но мы-то кой-как ускокали с лошадьми. Много раз я думал пешком уйти в свою сторону, да как гляну на Гнедового и Саврасого, так снова притулюсь на месте. Зима сильно пугала. Тифом все у нас переболели, один казак скончался при нас. Вспоминать все — дрожь пробирает. Офицеры нас все к Каспию тянули, а я норовлю в свою сторону. От Темира удалось направить обоз на Уил по Калмыковскому тракту, оставалось нас в обозе два офицера и шесть казаков при шести лошадях. Другие казаки с Самарской стороны были. Вот за Уилом пришла минутка: надо было путь выбирать — либо к Каспию, либо домой воротачься. Встали это мы все, помню, рано. В брошенном, мертвом ауле дело было. Вечером из землянок трупы марзей тухля-

вые повыкидывали. С голоду мерли киргизы. Встали поутру, молчим, фургоны запрегаем. Посажались на везы. Офицеры это приказывают в южном направлении, казаки не хотят. В руках у тех и других оружие, а в ход пускать не решаемся. Тогда офицеры и говорят: «Езжайте, куда жалеете, берите два фугона, а мы один себе оставляем». Казаки обрадовались и моих лошадей ни отдадут, потому как все они одного поселку и со своими лошадьми. Один только старик безлошадный. Меня обещают довезти до дому. Смотри ты: сколь мне уж за лошадей выстрадать пришлось, а тут снова искушение. Закрылся я было, а потом решил, лошадей не оставлю. Будет, что будет. Старика с собой умолил идти. Офицеры пошушукались, пошпательны, но делать нечего: тронули мы вчетвером на юг. Три дня офицеры сторож держались, начеку, оба никогда не засыпали. Но тут буран поднялся, страшная, сухая поземка, плутали мы по степи, истомились все, и на остановке уснули они оба под фургоном. Говорю старику: «Ну, Ильич, теперь или никогда». Уехать тихо никак нельзя было. Взял я винтовку, перекрестился, приколол одного офицера, того, что постарше, а на другого мы оба набросились, обезоружили, увязали ему руки и ноги покрепче и давай лошадей закладывать. Ой и кричал же он! Все просил пристрелить его. И сейчас кой-когда его визг у меня в ушах веньгает. В самом деле, потом-то я раздумался, приколол бы его, это не так страшно. Страшней слушать живой человек ревет. Скачем во весь опор, буд-то за нами кто гонится, старик мой

дрожит и плачет: «Да где же Бог-то? Где же он?» — все бормочет. А я тогда почувал: не стало Бога. Сразу не стало. Исчез как степное марево. А старик через день вдруг взмолился: «Вернемся, говорит, документы их заберем: родню известим». Ополумел. Где там вертаться, когда сами еле-еле дорогу нашупали. Воды не видели, снегом жажду глушили. Ладно, скоро погода на весну пошла. Теплее стало. Птица по степи — казара — потянула. По ее лету я стал направленные определять. Выбрались мы кое-как к Джамбейте. Там уже места знакомые. Оттуда до весеннего разливу Илек миновали. В наши степи выехали. Сразу-то я домой не сунулся, пешком ночью к старухе пробрался. Набрал хлеба, вернулся опять в степь, а старик обманул меня: усакал верхом на Савраске. Реветь бы тут надо было, да слез давно уж у меня не стало: раньше без плача в груди повысыхали. Все одно стало. Поехал я домой. Увидал меня на другой день наш казак из Совета, кричит через плетень: «Вернулся никак, Иван Степаныч?» «Вернулся», — говорю. «Ну, коли так, зайди в Совет, запишай тебя надо». Пришел я в Совет. Порассказал, как дело было. Об офицерах, конечно, смолчал. Зачем им это? Не попам исповедуюсь. Вот теперь и живу, как видишь.

Хотел было ехать лошадь разыскивать, да потом махнул рукой. С одной живу.»

За рассказом Царева я не заметил, как на востоке разгорелась пыльным, багровым заревом ранняя степная заря. Степь подернулась нежно-красовой дымкой. Тишина

сковала равнину, небо. И вдруг сзади с солончаков в ухо кощунственно ударил конский топот. Недалеко полоской красного света скакал верховой. Черный силуэт его был отчетлив и близок. Но глаз по заре не мог различить живых очертаний. Кто был степной беглец, мы не узнали. Куда, зачем скакал этот всадник так рано диким карьером? Мы даже не спросили друг друга об этом. Человек мчался без дороги, без направления, мимо нашего стана. Мы молча проводили его глазами и стали укладываться у потухающего костра.

VIII ПО УРАЛЬСКОЙ СТЕПИ НА АВТОБУСЕ

Встаю в трех от Илека сохранился земляной вал, отделявший Уральскую область от оренбургского казачества. С особым, щемичим сердце волнением садишься я на автобус в г. Илеке. Сейчас он помчит меня в глубь Уральской области, в центр Уральского казачества. Там, за Уральском, ближе к Каспию, в поселке Каленовском я провел детство. С тех пор, больше двадцати лет, я не бывал в этом крае. Детские впечатления неизгладимы. Они, как живая вода подпочвенного родника, постоянно выплескивают на поверхность. Уральский казак для меня особый тип не только по своему бытовому укладу, общественному и хозяйственному бытию, — он для меня первый живой человек в моей жизни: я с ним рос, он учил меня видеть и любить природу, от него я заразился страстью к игре и борьбе, у него я перенял первые навыки жизни. Теперь я страшусь этих дет-

ских воспоминаний: ведь мой учитель детства сам потерпел крушение, мой первый друг оказался самым упорным врагом новой жизни, ярым контрреволюционером. В. Короленко, мелком глянувший на этот край в 1900 году, писал в своих очерках «У казаков»: — Да, казачий строй выработал особенный человеческий тип... Кто внесет он со-своей стороны в ту будущую волю, которая должна теперь выработаться не на «украинских началах» борьбу, а на началах, одинаковых и для Уральска, и для Илека, и для киргизской степи, над которой в эти минуты перед моим взглядом, там за Уралом, висела туманная мгла...

Теперь мне предстоит посмотреть, что случилось с Уральским казачеством после прихода этой, тогда еще «будущей воли», проверить свои детские впечатления, увидеть, как теперь живет уральский казак.

От Илека до Уральска дорога идет Бухарской стороной — через село Бурлин, известное в крае своими огромными скотскими базарами. Отсюда она круто поворачивает, отходя от Урала в глубь степей, бежит солончаковыми степями, выходит на ковыльные просторы и к Уральску скатывается лугами.

Автобус по степи стал ходить недавно. Казачье крестьянское население им не пользуется: правление решило отменить скидку для крестьян; все равно, дескать, они не пользуются автомобильным сообщением. На этот раз едут трое торговцев, кооператор из Илека и большое семейство ответработника киргиза.

Автобус быстро проносится мимо станций, не давая возможности взглянуть в новую для меня казачью жизнь. На переправе через реку Илек, бегущую в Урал от Актобинска, машина шумит и сердится, разгоняя стадо быков и лошадей. Молодой киргиз в ушахом малахае пытается на низкорослой лошадке обогнать нас. Оскалив желтые зубы, он с минуту несется рядом с «фиатом», потом с гиканьем поворачивает в сторону и довольный едет обратно: степная картина, ставшая обычной и даже шаблонной после осеннего жеребенка. Казаки молча поглядывают на новое для них чудище, и не узнаешь, что они думают о нем.

Дорога однообразна и пустынна. Степь проносится мимо ковыльным седовато-серым полотнищем, и, если бы она не нависала на меня детских воспоминаний, она могла бы и мне показаться мертвой и скудной. Но я вырос в Уральской степи и с той поры больше двадцати лет не бывал здесь. Серыми призрачными зверьками скачут по равнине перекати-поле; на курганах, по-местному — марах, — черными точками маячат хищники, мелькают остатки зимних вешек. И больше — ничего. Но я с детства помню о жаровниках, о желтых сусликах, которых мы выливали из нор водою. Я знаю, что по ковылям прчутся осторожные дудаки, стрепета. Помню поездки на бахи, где зреют лучшие в мире «фрукты» — сладкие арбузы и душистые дыни. В моих глазах скачут быстроногие сайгаки, по рассказам казаков, снова появившиеся в здешних местах. Степь снова расцветает в моем воображении, и я сейчас еду не на «фи-

те», а гоняюся верхом за одичавшим арагамом, стараясь накинуть ему на шею аркан, как то ловко делал друг моего детства киргиз Алибай. Мои глаза невольно ищут на перекрестках дорог горку арбузов и дынь: в прежние времена казак, возвращаясь с бахчей, непременно оставлял здесь подарок проезжим. Я спрашиваю моих спутников, сохранился ли этот добрый старый обычай. Торговцы усмеяются: «Нет, это давно уже вывелось. Дураков не стало. Теперь все идет на базар».

Навстречу нам почти непрерывными караванами тянутся по степи обозы: на быках и верблюдах везут яблоки. Уральские яблоки отправляют преимущественно на Саратов и Оренбург. Здешные яблоки вкуснее ташкентских. Уральские сады расположены по реке Чаган, впадающей в Яик под Уральском. В них вызревают различные сорта яблок: есть несколько видов аниса, среди них славится московский — бархатный, есть и крепкая антоновка. Много малиновки, растет и бледно-розовая грушевка и вкусный кальвиль. Немало более дешевого яблока черного дерева, пердовки и мягкой скороспелой белянки. Вызревает в большом количестве ранет. Вся торговля яблоками в руках частника. Я некоторое время не понимал, зачем торговцы и их агенты, едущие со мной в автобусе, так старательно считают возы с яблоками. Они отмечали даже сорта, узнавая их по упаковке. Оказывается, их задача — телеграфно сообщать компаньонам в Оренбург, сколько идет яблока из Уральска. Те уже по этим данным решают, задерживать ли яблоки или, наоборот,

сбывать их быстрее. Купцы всю дорогу горестно ахали: за сутки мимо автобуса прошло более четырехсот возов, это не меньше восьми тысяч пудов. «Беда. Катастрофа. Через неделю яблоки в Оренбурге будут ни по чем». Проходят последние возы с падалицей, она быстро портится, ее спешат поскорее сбывать. За ней следует подбор-щепанища, т.е. собранные с деревьев спелые крепкие яблоки. Я спросил кооператора, почему они не пытаются эту торговлю вырвать из рук частника. «Пытались. Ничего не вышло. Погнили яблоки. Специалисты-яблочники — все старые торговцы. В кооперацию не идут».

Имя известнейшего купца в крае произносилось повсюду с почетом и уважением. Нынешний год виду редкого урожая он, по словам агента, наживет больше ста тысяч. Им на корню скуплены заблаговременно все лучшие сады по Чагану. Он, как чеховский купец Варламов из повести «Степь», нагоняет на остальных торговцев страх и трепет: рынок всецело в его руках. «Почему вы на него так рыно работаете?» — спросил я агента. — Почему не идете в кооперацию? Агент усмехнулся: «Разве кооперация так заплатит мне? Там же режим экономии. А дело всегда требует широты и размаха».

В Бурлине мы остановились на ночлег. Сегодня здесь базарный день. Народу на площади много. Не мало и скота. Но нищим мне показались базар в сравнении с прежними уральскими торговыми гульбищами, когда сюда съезжались со всего края богачи-казаки и украинцы, стогали баранов, лошадей и рогатый скот.

Здесь впервые, после многих лет, я увидел и услышал типичный, резкий говор уральских казаков. Увидел даже их старые малиновые околыши: теперь их носит молодежь, как эмблема революции.

Чаем нас угощала уральская казачка. Муж ее был украинец, но я узнал ее происхождение по ее говору, похожему на московский, только резко ускоренного темпа.

«Каймачок бы хозяйюшка угостила!» Казачка взглянула на меня светлее, внимательнее и засмеялась. «Тепло, вишь, стоит. Восейка (на дыях) ставила каймак, холодной был стало. А понека киснет он уж очень скоро». Мы договорились: она обещала угостить меня каймаком, — топлеными, стуженными сливками, — на обратном пути. В помещении, где мы расположились чавчинать, сидели два пожилых казака. Один был из поселка Свистун, другой из Заурала из Трекина, описанного В. Короленько. Оба были уже на взводе. Перед ними поблескивала порожняя бутылка. Свистунский казак обнял за плечи своего земляка и шепнул ему горячо на ухо:

— Тамыр ты мой! Во никак не думал тебя живым стретить. В мертвых считал. Давно я тебя схоронил, Евстигнейч!.. Оба, значит, мы друг друга к Миколе спровадили. Выйду на Урал и думаю: не один ли я на свете-то остался?.. А тут глянжу: Гришенька, друг заветный! Помнишь чай, как на багренье вместе на моем «мегреневом» скакали. О, конь-то был! Все багры у казаков вдробезгу ррасшибали, язви-те в душу-то!..

— А что, землякия, багренье-то у вас теперь ведется?

Казаки ответили не сразу. Оба воззрились на меня с сомнением. Но пьяное добродушие победило.

— Каюк теперь багренье? Багренье миром происходит. А мира не стало. Один на ятовь не выйдешь. Рыба-то от одного и не поворощится. Каюк теперь багренье! Нет его. Рыба так пропадает.

Багренье — это зимнее рыболовство баграми: длинными, сосновыми шестами с железным крюком. Мне самому доводилось бывать на багренье. Это были торжественные и веселые дни для казаков. Со всех концов области скакали они к Уральску на лучших своих лошадях. В лесных и волчьих шубах, заранее погулявши, они с гиканьем лихо мчались к «ятовью», месту зимней спячки рыбы. По дороге сшибались санями, беззлобно, но мастерики ругали друг друга, пели песни. На берегу Урала стройно располагались с баграми в руках и по «удару» пушки бросались на лед. Рыба, спугнутая необычным шумом, кидалась по реке и натякалась на багры, частокломо опущенные в проруби. Скоро на льду высились груды рыбы. Дневной улов иногда доходил до 20 тысяч пудов. Из центра наезжало на багренье множество торговцев. Рыбу часто продавали еще подо льдом. Происходила игра на счастье, своеобразная торговая лотерея. Икрачная рыба ценилась в несколько раз дороже яловой. Белуги встречались такой величины, что, помню, мои ноги не доставали до земли, когда казак забросил меня на ее спину. Белуга сломала десятка два багров, пока ее не задержал один из счастливец. Казакам было где показать свои удали и молодчество. Я видел, как лбищен-

ский казак Киреев, попав в полулунку и валенках в поляню, — из воды повывкидал, сняв с себя, всю одежду, и тогда вылез на лед: помогать другим было некогда.

Свистунский казак, встревоженный моими вопросами, предался воспоминаниям о былых временах.

«Помнишь, помнишь, Гришанька. Как мы цапали с тобой ель и осетров. Да все икряные!.. Я всегда перед выездом к своему пьянице долговосому ходил: — Благослови, батя, улов будет — Миколу на лоб трехрублевую свечу приляплю и тебе икорки привезу. Молись усердней! И-эх, а теперь!..»

Казака долила тоска, он не выдержал, вскопил, затопал и запел отчаянную плясую:

*Приехали на ятову,
На ятови — одна кровь.
Багренё, багренё,
Одно провожденье!..*

Притопывая тяжелыми подборами больших сапог, он сотрясал своими ударами ног летнее жилище. Казачка с улыбочкой смотрела на разгулявшихся земляков. Плясун обнял своего друга, крепко поцеловал его три раза и закричал: «Во, божусь перед иконой: встречу тебя через сто лет, четвертную поставлю, хоть на мне и шароваров не будет. Споем, Гришанька, старинную, что баушки наши певали.

*Уж вы, ночи, мои ночи,
ночи темные,
Ночи темные, осенние...
Надоело вы мне, надоскучили,
С мильм другом поразлучили,
И-эх, поразлучили!..»*

Гришанька подхватил мотив, и они, обнявшись, запели пьяно, тоскливо, протяжно, покачиваясь в такт песне:

*И вот пропил, пропил
С меня цветно платочки.
Еще пропил мою шаль
терновую,
И-эх, шаль терновую!..*

Всю ночь тосковали в песнях казачки. Рано утром автобус двинулся на Уральск.

IX ЗЕМЛЯК МАРКУШКА

В Уральск я приехал двенадцатого сентября. Мне хотелось поскорее выехать на низовье, где живет коренное казачество. Пятнадцатого должна начаться плавня. К ее началу надо непременно добраться до Каленовского поселка. В прежние времена там происходил сбор войска на осеннее рыболовство. Меня до крайности поразило, что в Уральске никто не мог сказать наверняка, бывает теперь плавня или ее нет, как и багренё. Это мне показалось просто невероятным. Раньше эти дни были всенародным для казаков торжеством, будоражило отравившимся на всей области. Сейчас бы уже со всех концов, по всем дорогам тянулись бы к Калену оводы с разноцветными бударами, скакали бы сломя голову торговцы, представители войскового Управления и просто праздные зрители, жаждащие взглянуть на редкое зрелище.

В местной газете даже краткой заметки не появилось о предстоящей плавне. Я не знал, что и думать. Решил поскорее проверить разноречи-

вые слухи своими глазами и только не релпался, каким способом мне добраться до Каленого.

С 1925 года по Уралу до Гурьева стали ходить пароходы. Вечером я и отправился по Советской улице к пристани. Автобус шел только через два дня: к моему приезду изменилось расписание.

Погожий день тихо угасал. Небо от края до края подернулось красноватой дымкой, как зарумянившаяся пенка каймака. На улицах было пусто. Уездная тишь губернского города смотрела серыми, сонными глазами из каждого закоулка. Единственное живое существо — пестрая свинья — подкапывала носом дряхлый деревянный забор. Я прошел рядом с ней. Она с достоинством сытой животины невозмутимо глянула на меня исподлобья и опять занялась своим делом. Старинный Михайловский собор тихо сиял над Уралом вблизи пристани. Волжского типа пароход «Пасынок» недвижно покоился у берега. Десяток рабочих, кончивших погрузку, мирно раскуривали на деревянных сходнях махорку. Я спросил у них, сколько времени пройдет пароход до Каленого. «Да кто же его знает? Может неделю, может две, може и больше. Восейка вон тут на виду простоял неделю, а затем опять сюда привернул. Самое верное, идите на базар, там с казаками доедете на быках», — посоветовали они мне без малейшей иронии.

Я тихо повернул обратно в город. Заря погасла. Урал посинел, стал сумрачной и холодной. Спешно пролетала над водой стайка белых чаек. Вевяло предосенней грустью и степной тишиной. Длинная широкая

улица глядела на меня заброшенной, большой дорогой, давно не знающей путников. Никого! Слово я находился не в губерском городе, а где-нибудь в степном покинутом ауле. Я повернул на Чаган и вышел на реку около Куренской мечети. Здесь было еще унылее и тише. Степь молочно-сероватым полотнищем беспомощно поникла под потухающим небом.

Притаился как серый зверь Буян-остров.

Бескрайние поля, пустынная дорога и степная речка, где когда-то бужевал Пугачев и где еще недавно происходили жестокие драки, теперь были охвачены великим покоем. В голову навязчиво лезли буйные есенинские стихи, так мало соответствующие минуте:

*Ох, как устал и как болит
нога!..
Ржет дорога в жуткое
пространство.
Ты ли, ты ли, разбойный
Чаган,
Притом дикарей и оборванцев?*

Я вышел к Уралу, туда, где когда-то была Ханская роща и против нее — знаменитый учуг — решетчатая перегородка, задерживавшая уход рыбы вверх по реке. Роща вырублена в голодные годы, учуг снят в 1919 году. Теперь казаки уже не являются монопольными владельцами Урала. Сами они, как малая народность, входят в Казахстан. И звание «казачков» передано киргизскому населению. С реки снята их ревинная охрана. Раньше здесь, ниже учуга, не разрешалось не только ездить на лодке, но даже иску-

паться нельзя было. В. Короленко опышивает испуг казака-пикетчика, когда он спросил его, можно ли ему попутаться в Урале. «Что это вы, бог с вами! — произнес он с изумлением. — Как можно в реке купаться». Возвращался я от Чагана по бывшей Штабной. Памятная улица! Когда я учился в Уральске, на ней именно происходили знаменитые кулачные бои русских с татарами. Реальности и воспитанники духовного училища являлись всегда зачинщиками этих драк. За ними уже стенка на стенку шли взрослые. Героем русской стенки был казак Егорка Спирия. У татар красивый, стройный Казя. Помню, не успевал из-за угла показаться Спирия, как раздавался панический крик: «Спирия калыгяр». (Спирия идет). Татары обращались в бегство. Один Казя выдерживал с ним бой. Этот Спирия, как рассказали мне, погиб в одной из станиц от руки генерала Толстова. Спирия начал организовывать по станицам «красных» казаков: это было при самом начале гражданской войны. На один из митингов в станицу явился из штаба с отрядом Толстов, позднее возглавлявший Уральскую Вандею. Митинг был разогнан, причем геройски сопротивлявшийся этому Егор Спирия погиб. Его замыслы соединить казаков с революционной Россией заглохли вместе с его смертью. Как сейчас вижу его сильно, характерную фигуру, широко шагнувшему к месту боя: наш детский герой оказался и героем революции, о которой мы тогда, в детстве, и не думали.

Утром я отправился на базарную площадь. Там я скоро разыскал

казаков с низовья, приехавших в город за извозом. Спросил, нет ли здесь Каленовских казаков. — Как не быть. Вот те тагарки (кибитки) каленовцев. Третий день стоят. Да смотри, это сам Марк Карпыч шагает. Може знаешь его? — Марк Карпыч был моим сверстником, одним из близких друзей и со товарищем по играм. Понятно, с каким волнением я возрился на шагнувшего по площади казака. Его окликнул зычно один из казаков и подозвал ко мне. Молодой мужчина, смуглый, как древний пергамент, с резкими чертами лица, заросшими черными волосами, круто повернулся и подошел к нам. Знаю-мне, лухавые глаза блеснули острой улыбкой и вопросительно остановились на мне.

— Марк Карпыч, вот человек тебя ищет. Сказыват, старый знакомый. Выте секунд, не больше, опупывали меня хитроватые, узкие, восточного типа казаки «Маркушки», как звали мы казака в детстве. Вот они радостно засверкали, лицо зарябилось светлыми излучинами, руки его коротко метнулись по воздуху, и он вволюванно заговорил с гортанными придыханиями:

— X-хы!.. Валька, никак, зарраза ты этака!.. Празрази меня бог, — Валька!.. Да, право же — он самый. И мурло и мурун тот самый. Аманба!.. Помнишь, как возле сторожки играли, по льду. Эх! И здорово же ты играл. Лупили мы те тогда, пострели те в варку-то. Здорово лупили, ревел аж, а нас всех обыгрывал. Ей-ей.

Казаки смеялись. Маркушка все это выбрасывал из себя, стоя недвижно на одном месте, как в строю;

только лицо его лучилось бликами неудержимого смеха и лукавой иронии. Он был тот же самый Маркушка, что и двадцать лет тому назад: игривый, славный, радужный. Мне казалось, что я так же сразу узнал бы его, как он меня. Мы забросали друг друга вопросами, не успевая отвечать на них.

— В Каленый едешь? Вот спасибо! Не забыл, вишь, нас. А мы сами себе забыли, почитай. Бежим из поселка. Капут нам пришел. Мы теперь уж не казаки. Новые казаки вон в малахаях. Киргизье. Мы — русскими стали. Катай, катай в Каленый. Не узнаешь поселок. Степь хочешь посмотреть? Сусликов вместе выливали. Как же — все помню. Ровно вчера было! Степь не та стала. Совсем не та. Никто ее не коснется, не шпрнет, не пырнет. При тебе, никак, первые машины мы выписали? Погибли они все. Лошадей тож нет у нас. На быках мы, на тагарках теперь раскатываемся. Степь стоит золотая. Ржаники выдули выше колен. Ковыли поросли там, где раньше отродясь их не было. Копанки все пообсыпались, дороги заросли. Найдешь ли ты лошадей? Это задача. Кони у нас теперь предмет роскоши. Мы давно приобичились к волам. Я третий год езжу в тагарке, как князь, соль по кооперативам развожу... Поезжай, посмотри на казаков. К нашим забегти, чаем прикажи себя попочтывать. Скажи моей марзе: в поселок скоро не попаду. К Бузуудуку извоз взял. А живем мы, прямо надо сказать, плохо. За что боролось, то и получили. Нажитки-пожитки размотали вконец. А ведь были — куды там! — прямо буржуа-

ми. После мы еще больше зажирили, прямо, как северга старая на ятовни. В живых-то у нас мало мужиков осталось. Из моих сверстников пять — шесть на поселке живут. Стариков — Андриан Федорыч да тезка мой на шиворот-выворот Карп Маркыч. Чуть ходит, а опять будто за сайгаками в степь ладит. Охотник куды! А мне таперь наплевать на все. Барьерь (безразлично). Волчи-то шубы все посиничали с казачьих плеч. И за дело: не будь дураками, не воюй против России.

— Ты разве сам-то не воевал?

— Как не воевал, воевал. До Александровского форта драл без олядки. Гярой! Волюньто казачью отстаивал. Веру православную защищал, — издевался над собой со злобой и беспощадной иронией казак: — На «уру» лез, что твой Руслан Лазаревич...

Я спросил у него насчет плавни. — Как же, как же, будет плавня, не знай только шестнадцатого, либо позднее. Нонека, поди, впервые казаки будары покрасили. Посмотри, поезжай. На быках не поспеешь. Автобусом езжай, если акча в кармане водится.

Утром я выехал в Каленый на автобусе.

X ПО НИЗОВЫМ СТАНИЦАМ

От Оренбурга Урал течет до столыци янички казаков в западном направлении. Здесь он круто повертывает на юг, зачювя низину Каспия. Степь за Уральском покойна и ровна, как стол. Автобус быстро бежит по проселочным, пыльным дорогам.

Здесь, на правом берегу реки, распались до самого моря наиболее оживленные раньше и старинные казачьи поселки и станицы. Они мелькают через каменные полчаса. По рассказам земляков и из книги Д. Фурманова о Чапаеве, я знал, сколь ожесточенной и упорной была в этих местах гражданская война. Но то, что я увидел своими глазами, превзошло мои ожидания. Ребенком я не раз проезжал по этой дороге. Навсегда остались в моей памяти серо-желтой глиной вымытые ряды саманных изб с плоскими крышами, прямые пыльные улицы, люди высокого роста с широким шагом, с резким и зычным гортанным говором и широкой усмешкой язвительного добродушия. Женщины высокого стана, простой русской красоты, с волосниками или чаще шелковыми узорчатыми платками на голове, молчаливой улыбкой провожавшие проезжих, шустрые казачата, чуть не с пеленок скачущие на конях, увертливые, лихие волчата степных просторов. От этих воспоминаний, естественно, картина разрухи усиливалась, становилась для меня живой, очевидной. Теперь вместо улиц повсюду высились беспорядочные кучи воздушного кирпича. На самой длинной улице богатого Лбищенска я насчитал не больше десятка жилых домов. Казалось, мы проносимся по старым степным кочевьям, давным-давно покинутым людьми. Огромная красного кирпича церковь на площади была наглухо забита. Казаки теперь уж не молились. На мой вопрос в Каленое, где тоже церковь заперта: «Чем объяснить такое резкое падение религии у казаков,

любивших прежде торжественные богослужения?», — казак Жарудин ответил мне:

— Наш старый поп любил спрашивать нас: «Ну что, казаки, попа надо вам пока?» — Мы всегда раньше говорили: «попа надо пока». Теперь «пока» это минуло. Не об чем нам лоб расшибать. С богом делов не ведем. Он нам не нужен. И мы ему тоже. Надолго разошлись. Бог любит тароватых, а не дырватых.

На пустынной Лбищенской площади больших размеров безлюдно и тихо. Лишь в дальнем углу на завалинке около кооператива сидят трое казаков и лущат семечки. Воспользовавшись часовой остановкой, я направляюсь в лавку за папиросами. Приостанавливаюсь около казаков и спрашиваю у них, где здесь квартировал Чапаев в памятную ночь казачьего набега со стороны Саламихина. — Во здесь, — указали они на разрушенный кирпичный дом. — Из вас не видел ли кто, как он погиг? — Как не видеть. Народ видел. Этим порядком, рассказывают, отступал, — махнул казак рукой вдоль улицы. — Там вот повернул переулком, а на Красном яру в Урал спулся, — с еле уловимой усмешкой под усами неторопливо объяснял мне казак. Я поспешил к автобусу. Казаки продолжали тихо беседовать, не оглядываясь в мою сторону. На пыльной дороге я увидел винтовочный, разряженный патрон. Эта медяшка, теперь обезвреженная и никому ненужная, валялась здесь давно: стенки ее покрылись ржавой плесенью. Томящая жарница, бледноватое, усталое небо, едкая пыль, полосы седоватой мертвой степи,

безлюдно, — как все это плохо теперь вязалось с тем, что эти места не так давно еще были свидетелями жестоких и страшных побоев, беженного людского иступленного озверения. Эта приуральная полоса, где я теперь проезжал, — от Уральска до Каленого, — пострадала больше всего. Красные стояли в Сахарновском поселке, в десяти верстах от Каленого, когда казаки свершили свой знаменитый обход по Кушумовской долине мимо Чижинских болот и со стороны Саламихина вышли на Лбище, где стоял чапаевский штаб и находились тыловые склады. Красноармейцы, отступая от Сахарного, в порыве гнева жгли казачьи станицы, где из каждого закоулка на них ощеривалась тупая ненависть и из каждого окна плевалась огнем смерть. Казаки рассказали мне, что в Сахарном и ихними частями был подожжен лазарет, где пожарищем было уничтожено около трехсот больных красноармейцев. Красные взорвали церковь в этой станице. Все мужское население ушло из станиц. Те, кто не мог идти, прятались по лесам и в степи. В Каленовском поселке я сам находил кости и черепа людей на берегу в тальниках возле перевоза. Уверяли, что эти трупы были принесены волнами из Лбищенска. Если это справедливо, то их несло больше семидесяти верст. Урал розовел от крови.

А теперь мертвая тишина царила по станицам. Все это уже поросло быльем, и только развалины и опустевшие станицы безмолвно напоминают еще о том страшном времени. В Лбищенске я спросил у казачонка, вертевшегося около автобуса, пом-

нит ли он что-нибудь о войне в их крае.

— Маманька сказывала: мужики по станицам шли. Казаков били, сам-то я малой был. Не видал. Пожары, быдто, помню, да как папанька уезжал, помню.

К четырем часам вечера автобус пронесся по улице Каленого, сбросил меня и мои вещи на площади и запылил дальше к Калмыкову. Осматриваюсь по сторонам. Как посерел и ссутулился мир, где прошло мое детство! Церковь выглядит игрушечно-маленькой и жалкой. Сторожка при ней, где я учился азбуке у дьякона Хрулева вместе с казачатами, убога и приземиста, как сказочная избушка на курьих ножках. Моя первая alma mater! Но от нее в душе осталось не меньше впечатлений, чем от Московского университета Шаняевского. Серая площадь начинает вдруг оживать. Кубари, алчи, мазилки, масляничные гульбища казаков, вот этот угол, где мы с Маркушкой плепнулись со спины буланого «маштака», казачьи песни, — все это ожило на момент и захлестнуло настоящую минуту. А из окон меня рассматривают казачки. Их лица мне кажутся страшно знакомыми, но узнать я никого не могу. Захожу в ближайший двор. Казачка с ясным и спокойным радушем приглашает меня в избу. Иду. Та же поражающая глаз чистота царит в комнатах. Ни пылинки. Полы моются каждый день. В обуви нас, детей, никогда не пускали в горницы. Только босиком. Тот же кюот темных, старинных икон. И вечная лампада. Здесь, в женском уголке

еще хранится связь с молчаливыми, темными богами, отвергнутыми казаками.

Иду по поселку. Каленый пострадал гораздо меньше других селений. Из двухсот с лишком домов здесь порушено не больше полсотни. Сожжена школа, теперь переведенная в старый дом священника. Захожу на окраине в дряхлый двухэтажный дом к Матрене Даниловне. С ее детьми я рос в одном дворе. Двор одряхлел без хозяйского присмотра. У поваленных плетней, как и встарь, возится киргиз Доса-Галей. Вхожу в избу. Матрена Даниловна месит темную муку в большой деревянной чашке. Услышав мое имя, ахает, берет меня за руку и ведет к окну. Внимательно осматривает ослабевшие глаза. Она живет вдвоем со своим младшим, девятнадцатилетним сыном Георгием. Остальных ее сыновей разнесло бурей по свету. Муж и дочь умерли от тифа.

Вечером старая казачка угощает меня огромными, тонкими блинами с каймаком, жареным судаком и подробно рассказывает мне о годах гражданской войны. Она в свое время была передовой женщиной в поселке. Несмотря на насмешки односельчан, она первая повезла своих детей учиться в город. В ее эпическом повествовании о страшных годах нет и тени сочувствия казачьим «подвигам» и ненависти к красным. Она умно иронизирует над земляками и только изредка нотки личных утрат врываются в ее спокойную речь.

— Да теперь уж казаки не поют, как раньше горланили о своей неу-

страшимой храбрости и о своем достатке. Покойный Арсень Фомич, подвыпив, любил петь и баб всегда заставлял петь хвастливую песню казачков:

*На краю Руси обширной,
Вдоль Уральских берегов,
Проживает тихо, мирно
Войск уральских казаков.
Все шкуру Урала знают
И уральских осетров,
Только знают очень мало
Про уральских казаков.*

Правда, эта песня не наша, ее составил бузулукский воинский начальник! Мы любили другие, старинные песни...

Мы беседуем долго, за полночь. Я пытаюсь объяснить себе, из каких корней выросла эта ненависть казачества к революционной России. Казаки и особенно казачки теперь и сами не могут ответить на этот вопрос. Но мне сейчас уже многое понятно и ясно. Слишком органически крепко был закован их своеобразный общинный мир. Веками слетались в один плотный клубок их быт, их верования, их хозяйственный уклад. Исключительная для нашей деревни материальная обеспеченность наряду со старообрядческою неприязнью к культуре создавала и питала казачье самовольство. Мужика они и близко не подпускали к Уралу. Переселенцев, проезжавший по области, удочек не мог бросить в реку. Казачата встречали проезжих мужиков гиканьем, свистом и камнями, как особую низшую породу. «Музлан» — иного слова они не знали для названия крестьянина.

Их община, где было много хорошего и своеобразного, не имела никакой увязки с остальной Россией. Помню, какими дерзкими бунтарями казались всем богачи Вязниковцевы, впервые выписавшие в поселок граммофон. Старообрядцы лезвали и проклинали эту «чертовщину». Даже сенокосилки, появившиеся в области на моих глазах, были для большинства «дьявольской» выдумкой. Газеты, книги, помимо староцерковных, считались развратом и греховным баловством.

Мне самому доводилось испытывать, с какой ненавистью смотрели старухи на «иногороднего», особенно, если он был «табашник». Когда мы впервые проезжали по области, нам часто не давали поуды из боязни, что мы ее «запоганим». Эта ненависть веками превратилась в физическое отравление к «чужим». У женщин — зачастую в истерию. Ребенком я наблюдал, как заезжий врач делал в церкви опыты над «бесноватыми» казачками. Это зрелище было поистине жутким: казачки орали и билась, как будто в них на самом деле сидел бес. Воду, поднесенную к их рту в нестарообрядческой посуде, они выплевывали, как яд. Их чутье обострялось до последней степени. Это не было притворством, это было болезнью, казавшейся окружающим чудом. Мог ли этот старозаветный мир понять, хотя бы смутно, революцию. Это была благодатная почва для их тупых и ограниченных военных вождей и правителей, начавших ссору с саратовским совдепом, перемешавшую в ожесточенное побоище.

XI ОСЕННЯЯ ПЛАВНЯ

Каленовский поселок широко известен по Уральской области: испокон веков отсюда начиналась осенняя плавня. Плавня давала казакам четверть годового улова рыбы: около пятисот тысяч пудов. Но нас, ребят, в то время мало занимала экономическая сторона рыболовства. Эти дни пленяли нас другой стороной: широким своим размахом красок, звуков, необычностью зрелищных впечатлений. Дни плавни были для казачат своеобразным пасхальным праздником.

Теперь я приехал сюда взрослым человеком, чтобы взглянуть снова на плавню. Я ночую в том самом доме, где двадцать лет тому назад я впервые увидел этот своеобразный казачий промысел, так не похожий на серый деревенский труд. Мне трудно уснуть. Всю ночь воспоминания навязчиво теснятся в моем сознании. В полуяви, в полусне я вновь переживаю старину... Где-то вблизи под окнами шумят обозы, резко и весело покрикивают казаки. Под окнами слышится зычный, типичный окрик: — Пущате на фатеру-то штыль? — В избах невообразимый шум и гвалт. Вся область в эти дни стекалась в Каленый. До трех тысяч будар сползались в этом месте к Уралу. По Уралу за рыбаками двигались обозы. Купцы «из Московии» приезжали сюда за рыбой. Везли с собой различные, невиданные товары и для нас, ребят, незатейливые, чудеснейшие для нас в то время сласти и ряд наивных развлечений, обычных для центральной России в пасхальную неделю. Здесь впервые я увидал ка-

русель. На плавне узнал и навсегда унес с собой вкус сладких, черных стручков и приторных приняков — «жамков», как их называли казаки.

Поднялся с постели вместе с солнцем. Через полчаса уже ехал в сопровождении Георгия прямиком к Уралу. В поселке тихо и буднично. Мы едем верхами на жеребятках, впервые появившихся в поселке этой весной. Мои ноги едва-едва не достают до земли, и я похож на Дон-Кихота, а молодой казак на моего верного слугу. Гнедой жеребенок весело гарцует подо мной и ехать на нем приятно. — Погуртним, — предлагает Георгий, — и мы пускаем жеребят сдержанной рысью. Впереди блеснул старый Урал. На западе — серые молчаливые степи. Впереди по дороге тащится подводка на быках. На возу стоит покрашенная в коричневый тон будара. Сзади шагают четверо казаков в широких, разных цветов шароварах. В бударе виднеются невод, веревки, сети, ярыги, колотушки, подбаренники. Едут на плавню. Обгоняем подводку. Казаки кричат нам: — Не раздавите коней, драгуны! — выезжаем к реке в том самом месте, где начиналась плавня. Здесь берег версты на три обнажен от леса. По откосам над крутым яром здесь еще с вечера выстраивались в несколько рядов разноцветные будары. Рано утром я вместе со сверстниками взбирался на большое сучковатое дерево и оттуда жадно глазел на эту редкостную картину. Деревя этого уже нет, но пень от него остался. Георгий говорит, что его срубил лишь в прошлом году. Ниже всех по Уралу стояла копошная палатка рыболовного ата-

мана. Около нее чернела неуклюжая пушка. Масса духовенства в праздничном облачении служила здесь же торжественный молебен. Близидась торжественная минута: все ждут пушечного «удара» — сигнал к отправлению. Казаки в белых шароварах и разноцветных рубашках суетятся каждый у своей будары. Крепят снасти, привязывая их к лодкам. Важно выходит атаман из палатки и направляется на передовую лодку, уже покачивающуюся на голубых волнах покойного Урала. На несколько секунд все кругом замирает в страшном напряжении. Наконец бухает тяжелый пушечный выстрел. Казаки с бударями в руках бросаются к реке. Лодки летят с яра по воздуху в воду. Также по воздуху прыгают за ними и ловкие рыбаки. Тысячи будар в одну минуту оказываются на волнах. Быстро замахали в воздухе легкие весла. Лодки помчались вперед, стремясь скорее к ятови, месту спячки рыбы, где по особому знаку они будут бросать невода. Впереди линия лодок, так называемых «депутатов» с атаманом во главе. Они не дают вырваться вперед особорьяным рыбакам, сдерживая их пыл мастерскими ругательствами, а если это не помогает, они рубят у них топориками весла.

С вершины дерева кажется, что казаки просто бегут по воде, отталкиваясь веслами о воду. В этой суматохе то и дело опрокидываются вверх дном легкие будары. Рыбаки барахтаются возле них. Если казак, отбившись от своих, пробует ухватиться руками за чужой борт, его отталкивают веслами, крепко бьют по «варке» — голове. Но не было слу-

чая, чтобы казак утонул на плавне. «Казак плавает лучше чухин».

А в это же самое время по степной дороге ползут вперед обозы. Первая остановка рыбаков в поселке Антоновском — за тридцать верст. Там после первого улова начинается базар. Степь без дороги в несколько линий скачут купцы, спеша на место базара. Невообразимый шум и гвалт стоит на этой рыболовной ярмарке. Каждому обозу надо разрысать свою рыболовную компанию. Для этого возчики над тагарками вывешивают особые знаки. У кого над повозкой болтается тряпка, у кого — резной пестух, у кого — шумливая вергушка. Кто-то привез на дугу детский бумажный змей. Каких только эмблем и изображений не увидишь здесь. Но этого мало: извозчики звуками кличут своих рыбаков! Какой же это получается дикий и своеобразный джаз-банд! Здесь колотят в медный таз, там пиликают на губной гармошке, а тут просто орут во всю силу своих легких. Кто-то искусно заверещал поросенком, другой заржал как степной армак, а вот затянули хором плясовую. Казачата с деревьев кажут свои горловые таланты. И потом до зари базар и гульбиче. Казаки на плавне гостеприимны и щедрь, как сказочные разбойники после добычливого грабежа. По песку кружками везде сидят рыбаки, поблескивает четвертная: подходи любой, поздравляй с уловом, — тебе поднесут полную чарку, не меньше петровского кубка. К полуночи начинается пляс, зодесь песен несутся с откосов Урала. Чего зодеть только не услышишь! И протяжную «Уралку», и «Звончатых комариков», и заунывные «Темные ночи»... До сих пор еще на поселке

сохранились иронические частушки, по-казачьи — «привелки» про плавню, где многие любители выпить оставались без улова:

*Ах, плавня моя плавня,
Как проплавали тебя,
Толко пили да кутили,
Ничего не заловили.*

Или другая:

*Размечтались дурни дуревьи
Пьяными, пустыми варками.
— Вот доедем мы до Гурьева,
Зачернем белуг магарками.
Там белуги, что гора —
Икры пуда полтора...*

Теперь плавня стала обычной работой, лишняя прикрас и празднично-общественных одеяний. Казаки рыбачат небольшими партиями лишь в районе своих поселков. Низовье Урала около Гурьева отдано в эксплуатацию Астраханскому рыбному тресту. Казаки почти лишены возможности ловить рыбу около Капши, и им кажется, что рыбное хозяйство разрушено вконец. Они ругают трест за несоблюдение сроков рыбной ловли, за неумение ловить рыбу. Они зло смеются над попытками киргизов стать рыбаками.

Но статистика говорит другое: рыбный улов уже в 1925 — 1926 гг. достиг довоенной нормы — 2.000.000 пудов (отчет Уральского Губисполкома). Жизнь резко порушила старые общинные формы казачьего хозяйства — рыболовство внешне стало более будничным, похожим на российский труд крестьянина. Ничто не стоит на месте. Так безвозвратно

ушли в прошлое сладкие стручки и приторные жамки, запомнившиеся мне с детства от дней плавни.

Сегодня на Урале, как в обычные дни, ребята покойно забрасывают в реку свои переметы, и лишь на Бухарской стороне, на песчаном откосе трое казаков готовятся к вечернему улову: разбирают невод, ставят садки, огораживают плевнями в воде место для рыбы. Они хранят ее в садках до заморозков и потом отправляют или через Уральск на Саратов, или через Гурьев в Астрахань.

Вечером на Боддаревских песках мы наблюдали плавню. Здесь место постоянной ятови. Большинство каленовцев выбралось сюда. Поймано было в этот день мало: по две сотни судаков на невод и ни одной красной рыбы. Это плохой улов для первого дня плавни. В Антоновском поселке, как я узнал на другой день, одна компания взяла на невод до двух тысяч судаков. По самому скромному подсчету около двухсот пятидесяти пудов.

Сейчас при мне тянули невод. Когда «мотня» невода была ужо у берега, раздался зычный резкий крик казака, стоявшего у середины невода:

— Рыба, ррбятя, ррыба! Скоро! Скоро!

Это означало, что в неводе бьется красная рыба. Два рыбака бросились с подбагреником в воду и с невероятной быстротой выбросили осетра на песок. Рыба оказалась фунтов на пятнадцать. Казаки ехидно подтрунивали над собой и над мальцом осетром, к тому же оказавшемся «яловым» — не икряным.

Сумерками по Уралу с верховьев

проходил пароход «Пасынок», добравшийся до Каленого от Уральска на шестой день. В прежние времена казаки не разрешали никому проехать по Уралу даже на лодке. Рев парохода встревожил земляков. Старик Карп Маркович грозил ему с яра кулаком, бросал в его сторону ошметья земли и зычно выкрикивал самые непотребные слова:

— Погибели на вас, музланов, нет. Постригите-те в варку-то, в самую что ни на есть утробу. Заразойте убей. Хучь бы в эти дни не пужали рыбу...

Я смотрел на старика и на остальных казаков, вторивших ему с берега. В их ругани не было настоящей, неподдельной злобы. Это были историческая инерция, угасающее старое воспоминание о прошлых временах, которые людям всегда кажутся прекраснее настоящего.

XII КАЛЕНОВСКАЯ ОБЩИНА

Мои очерки об Уральской области наполовину состоят из воспоминаний. Вот и сейчас, когда я смотрю на Каленовский поселок с ветхого балкона старого дома Матрены Даниловны, прошлое этого края живо встает в моем воображении. Похоже на то, что я рассматриваю выцветшую фотографию, потерянную мною двадцать лет тому назад... Все так хорошо мне знакомо, все, даже вот этот обветшалый старик в ермолке, напоминающий гоголевского Плюшкина. Это — бывший богат, по прозвищу Таз-Миرون, им в детстве пугали нас, как сказочным чудовищем. Он, говорят про него, сошел с ума, выгнал от себя жену и детей.

Живет теперь один в большом доме. На дворе у него нет ни единой животины, но он, питаясь подаяниями, сам мажет избу глиной, поддерживает образцовый порядок в сараях и каждый день метет их, хотя в них сорить некому...

Уральцы раньше жили в исключительно счастливых условиях. Едва ли можно было где-нибудь в России найти столь благодатный уголок. Поселок Каленовский являлся типичнейшим в этом отношении. Я не могу согласиться с решительным утверждением К. Данилевского и Е. Рудницкого, авторов хорошей книги «Урало-Каспийский край» (Изд. Уральск, Губоно. 1927 г.), что «казаки основали на реке Яике (Урале) общину на новых началах свободы, справедливости, политического и экономического равенства, т.е. общину на началах, близких к советским (в формах самоуправления) и к социалистическим (в формах общинной организации хозяйства).

Трудно отыскать элементы подлинного социализма в казачьей общине с отсталыми методами труда, часто чуть ли не натуральными формами хозяйства, но что у них до последнего времени сохранились остатки своеобразного, если хотите, первобытного коммунизма, — это для меня бесспорно по отблескам детских моих воспоминаний, крепко хранящих ряд самых радостных картин человеческого труда.

Казачья воля, известное равенство обуславливались природными богатствами, находившимися в их распоряжении. Мне и сейчас видны с балкона необозримые ковыльные степи, бегущие на запад от

поселка. Кто из казаков задумывался об их границах? Чуть не сотню верст мы ездили тогда по степи в гости к каленовцам. Нигде для них не было запрета пасти свой скот, пахать землю, косить травы, разводить бахчи. Никаких границ, никаких раздельных межей нельзя было найти в этих просторах. Сотни и тысячи голов скота вольно кормились на их неуывающих травах. А даровые рабочие руки киргизов давали казакам безграничные возможности для развития их хозяйства. Неисчерпаемый запас рыбы на Урале был постоянной и нерушимой базой их благосостояния.

Судьба закинула меня в этот край семилетним мальчишкой. Помню, ехали мы от Уральска в поселок по воде на санях. Был в тот год необычайный разлив.

Луга и степи на десятки верст залила вода. В Каленый приехали в те дни, когда по Уралу из Каспия шла волна. На другой же день рано утром я вместе с десятилетним братом отправился смотреть, как казаки ловят рыбу. Ловля волбы происходила в устье маленькой речушки Ерика, впадающей в двух верстах от поселка в Урал. Волба шла от моря большими партиями, косяками. Она массами набивалась во все затоны и заливы Урала. В устье Ерика кишела, как в котле. Рыбаки загородили Ерик со стороны Урала сетями и прямо с лодок сачками грузили волбу на воза, стоявшие большой очередью вдоль берега. Воза, доверху нагруженные рыбой, непрерывной цепью ползли по дороге к поселку. Казаки, мокрые, уставшие от бешеной работы, были взбодорожено ве-

селя. Дикое одушевление овладело ими от удачи. Гогот, смех, зычные широкие крики наполняли воздух. После рыбалки все становилось на четвереньки, опуская бороды в воду, — старшой зычно командовал: «Брыт, орнем!» (Брат, орнем). Раздавался дружный, дикий ор, далеко разносившийся по реке. Языческий восторг! Подобных картин в крестьянском унылом труде я никогда не видел. Казаки, узнав, что мы с братом новые члены их общества, немедленно затащили нас в лодку, дали нам в руки сачки и дико гоготали, наблюдая наше неумение владеть ими. Они нагрузили доверчу наш большой мешок, взвалили его на спину брату и велели тащить рыбу в поселок. Сейчас мне это кажется чудом, но мы к вечеру все-таки приволокли домой эту рыбу, показавшуюся нам тогда сказочным богатством.

Казаки ревниво охраняли свое монопольное право на Урал. В нерабочее время даже удочкой на нем нельзя было порыбачить и казаку. Теперь этого уже нет. Во время плавни я побывал во многих местах на Урале. Меня сопровождал поселковый обездчик казак Будигин. Казачата, ловившие рыбу переметами, даже не стронулись с места, когда мы подошли к ним. — Разве теперь нет запрета ловить рыбу? — спросил я Будигина. Казак усмехнулся: — Нет, удочкой лови, где хошь и сколь хошь. Я наблюдаю только за тем, чтобы крупные снасти не бросали без времени.

Я вспомнил, как мы в свое время прятались от ревизоров и обездчиков по ярам и как тщательно зарывали до вечера пойманную

рыбу в песок. Для рыбалки переметами тогда было отведено место на перевозе, но кто же ходил туда? Мы презирали трусливых сверстников, ховдвших рыбачить на перевоз, хотя и там рыбы ловилось больше чем достаточно. Нас, ребят, дома всегда журили, что мы носим так много рыбы: летом ее некуда девать. Возвращаясь домой, мы развешивали судаков по деревьям в надежде, что ими воспользуются проезжие; мы с радостью вручали ее каждому встречному. А наутро снова бежали на Урал, чтобы снова и снова пережить рыбачьих треволнения, чувства браконьеров, ловко обманывавших начальство. Это придавало рыбалке оттенок таинственности и героизма.

— Ну, как, Мишка, много пумал? — обратился Будигин к белесому казачонку, ловившему удочкой из иголки мальцов для наживки.

— А как же. Гляди, пумали штук пять. Да с ночи еще не смотрели переметов. Надо вытануть.

Я попросил у Мишки разрешения посмотреть один из переметов. Казаченок усмехнулся и с любопытством стал глядеть, как я это сделаю. — Не спугай бечеву, мотри. — Я постарался не ударить лицом в грязь и сделал все по правилам рыбачьего искусства. Сердце дрогнуло от волнения, когда моя рука услышала по бечеве, что на перемете бьется рыба. Я лихо выбросил на песок двух больших судаков, не забыв разбросать перемет правильным узором по берегу. Казачата смотрели на мою работу с явным одобрением. — Мотри, он из казаков будет? — услышал я тихий шепот. Будигин засмеялся: — Не казак, а судаков ловили мы с ним

побольше вас в свое время. На этом месте осетра один раз на перемет задела...

Вокруг поселка по лугам множество озер самой различной формы и очертаний. Я вновь осмотрел их все. Вот блещет среди густого тальника мелкий блинообразный Ильмень-Бутгай. Дальше полумесяцем сияет Курюковская старица. Еще дальше — таинственным темным плесом разлеглась огромная Церковная, теперь Новая, старица, раньше находившаяся в пользовании церкви. В лесу — красивая синяя подкова Поколотой старицы. А вокруг них крутые, глубокие котлупани. Совсем рядом с Уралом большие затоны, лоцинами соединенные с рекою. Здесь около крещенья, в ясные морозные дни происходила зимняя тяга. Разве можно забыть эти чистые, прозрачные сумерки все население поселка высыпало на озера, покрытые толстым, крепким льдом. Сегодня тяга! Никто не остается во время тяги дома. И казачки участвуют в ней. За ними плетутся пятилетние, шестилетние казачата.

— Васюнюшка, чевой же ты грудных с собой не прихватила? — смеются старые бородачи.

— Да так уж, не прихватила. Думала, что и вы, старики, на печи просидите, — весело огрызается казачка.

Начинается тяга. Под лед с одного края озера опускают в прорубь огромный невод. На края его навязаны длинные сосновые шесты-прогны. Деревянными развилками рыбаки по мелким прорубям проталкивают вдоль озера эти шесты, а за ними

тащится и невод. Таким способом вычерпывают из озер всю рыбу, зашедшую сюда из Урала во время весеннего разлива. Горы рыбы дьются к вечеру на лду. Все, кто выезжает на тягу, непременно должны принимать посильное участие в работе. Мы, ребята, надрываемся изо всех сил, чтобы показать перед взрослыми удал, умение и опытность настоящих рыбаков. За то нам, как и себородо-дому казаку, причитается такой же равный пай из добычи. Вот наступает самый захватывающий момент, это — дележка рыбы. Все участники делятся на десятки. Рыба разбросана равными долями. Каждый десяток выбирает делегата. Делегаты начинают канатиться: перехватами рук по шести определяют, кому какой пай. С каким торжеством и гордостью тащил я домой полупудового сазана — карпа, доставшегося мне на тяге. Ни устал, ни мороз не существовали для меня в те минуты. Я ощущал себя таким же равноправным членом поселковой общины, как и высоченный суровый старик-старовер, рыбабой Осп Ардальонович или скряга Таз-Мирон, пытавшийся скандальничать при дележке рыбы. Теперь поселок не знает общинной тяги. Озера просто ардунются наиболее зажиточными казаками, у которых сохранились невода.

Земля, как и рыболовные угодья, принадлежала всей поселковой общине и никогда не делилась. Земледелием казаки в то время почти не занимались, а для бахчей, огородов и пастбищ степей хватало на всех с излишком. Лугов было гораздо меньше и здесь строго поддерживался общинный порядок сенокосения.

В назначенный для сенокоса день все казаки уже с вечера выезжали на луга. Утром с восходом солнца началась косьба. Лучи солнца заменяли собой «удар» пушки, служивший сигналом на плавне и багрене. Каждый косил, где хотел и сколько мог это сделать собственными силами. Ставить рабочего на сенокосе разрешалось лишь вдвоём и тем семьям, у кого мужчины были в это время на военной службе. Рабочий заменял собой отсутствующего казака. Работа на сенокосе также была своеобразным трудовым спортом, где удача зависела всецело от личной энергии. Все казаки вынуждены были косить самостоятельно. Позднее богатые казаки добились права ставить вместо себя рабочего. Это было первой завязью капитализма, незаметно просачивавшегося в общину. На моих глазах в поселке в начале девятисотых годов появились первые машины-сенокосилки. На них тогда разрешалось работать лишь в степи. Машины окончательно подточили этот идиллический мир. Богачи перекочевали со скотом в степи и там накашивали трав гораздо больше, чем остальные казаки в гутах ручной косой. Скоро казаки поняли, что от их общинного сенокосения осталась одна видимость и сами еще до революции отменили сенокос с «ударом», разделив луга на душевые наделы.

Теперь казаки вынуждены крепко держаться за свою землю. Киргизское население получило после революции такие же права, какими до революции обладали одни русские. Киргизы были совершенно вытеснены казаками с Самарской сто-

роны. Они не имели никаких прав на рыболовство. Сами они рыбу почти никогда и не употребляли в пищу. Все богатые киргизские аулы были лишь на Бухарской стороне. Оттуда киргизы приходили к казакам лишь для того, чтобы наняться за бесценок в работники. Все киргизы, которых я знал в детстве, — а я их знал не мало, работали пастухами у каленовцев. Это были кроткие, забытые люди, но об их добросовестности даже среди казаков ходили легенды. И у меня в памяти о них сохранились самые хорошие воспоминания. Они были настоящими друзьями для нас, ребятах, все эти смуглые оборванные Сарамбай, Алибайки, Маскары, Джума-Галеи. Казаки их эксплуатировали самым бесощадным образом. К последнему времени, по существу всю работу, кроме рыболовства, в казачьем хозяйстве делали за хозяев киргизы. Революция сравняла во всех правах русское и киргизское население.

Около самого Каленого, рядом с большим Ильменем в лучших луговых угодьях вырос небольшой киргизский хутор: десяток жалких, крошечных мазанок. Каленовцы жалуются, что киргизы травят у них луга, их скот поедает стога сена, оставшегося на лугах после сенокоса. При мне проезжал через поселок зам. пред. ВЦИКА Казакстана, т. Колесников. Он объезжал поселки, как писала Уральская газета, для выяснения ряда подобных недоразумений между русским и киргизским населением. Каленовцы просили лишь о том, чтобы киргизов переселили к ним в поселок. Революция вынудила казаков наконец

на признание за киргизами тех же прав, какими они овладели сами. Киргизы начинают принимать участие и в плавне. В самом Каленом не было резких столкновений у казаков с киргизами. Но ближе к Гурьеву, как я узнал опять-таки из газет, дело временами доходило до рукопашных схваток. Но это последние отблески той исторической вражды, которая жила в этом краю между двумя народами. Жизнь выкорчевывает последние корни этой вражды, идущей от седой старины, когда казаки были сторожевыми псами Московии, когда на них лежала обязанность охранять рубеж между Азией и Европой. Киргизы, обездоленные кочевники, бесправная народность, лишённая лучших своих земель, мстила русским разбойными набегами и грабежами. Все это безвозвратно уходит в прошлое. И если на моих глазах при проезде призывников в поселке Карпинском произошла драка между молодежью, то для меня ясно было, что это уже являлось лишь обычным для призывников пьяным озорством, а никак не серьезной национальной стычкой. Взрослые казаки уже примирились с тем, что киргизы такие же равноправные обитатели, как и они сами. Слишком ясно для всех, что возврата к старому теперь быть уже не может.

XIII ЗАПАХ ДЕТСТВА

Сегодня мы с Георгием бездельничаем: не задаваясь никакими целями, осматриваем в Каленом все заповедные уголки, памятные мне с детства. Какое странное волнение охватило меня, когда на стене узко-

го коридора я нашел засечки, отмечавшие мой рост. Много ли во мне сохранилось от того семилетнего карапуза, каким я тогда был? Но, несомненно, что-то сохранилось: узкий коридорчик вдруг ожил, стал родным, уютным, своим. Помню ночь. Синее небо, прильнувшее вплотную вот к этому небошьному окошечку. На крошечном столике мигает маленькая керосиновая лампочка. За десятилетиями стенами ржанные лошадей, Гнедого и Бурого: приехали отец и братья из степи. Вот идет по ступеням скрипучей лестницы огромный человек — мой отец. Он сам, его одежда полна запахов степи, пыли, трав, солнца. Он бросает с улыбкой мне на руки двух мертвых стрепетов. Меня до боли волнуют птички светло-коричневые перья, голые лапы, их стройная шея, нос. В моей крови вспыхивает тоска по степным просторам, по бродяжничеству, тоска, не оставляющая меня и по сей день. Отец принес эту страсть с гор Урала, из Пермской губернии, унаследовал ее от своих предков-промышленников и передал ее нам, своим детям.

В то время меня еще редко брали в поле, особенно, если ехали с ночевкой. Но я был необычайно упрямым и настойчивым, и старшие братья и отец вынуждены были прибегать к разнообразным уловкам, чтобы освободиться от меня. Им никогда не удавалось потихоньку улизнуть, хотя бы они уезжали и ночью. С вечера я так настораживался, что вскакивал при малейшем шуме. У меня и до сих пор сохранилась привычка просыпаться от внутреннего толчка в тот момент, который я намечаю

себе с вечера. Братья проделывали надо мной такую злую шутку. Они привязывали позади тарантаса мою детскую тележку, я садился в нее, окрыленный до восторга предстоящим путешествием. А когда мы таким цугом выезжали за ворота, они, отвязав мою тележку, бросали меня посреди дороги. Я падал на землю. Я грыз ее зубами, ломая ногти, раздирал ее руками, рвал на себе волосы, валялся в пыли и ревел таким истошным, отчаянным воплем, что вокруг меня собиралась толпа сердобольных казачек. Мать уносила меня на руках в дом. Ничто не могло меня утешить в эти минуты. Я бил мать ногами, царапал ей лицо и руки и выл целыми часами, пока не засыпал, обессиленный впамять. Во мне вспыхивала ненависть ко всему окружающему, к отцу, братьям. Я мечтал о мести, самой беспощадной и неспиритовой. Я забывал о ней только в те минуты, когда братья привозили мне рыбу, зайцев и птиц.

Скоро и меня стали брать в поле: своим упорством и страстью я победил все препятствия. Я стал равноправным участником охот и рыбалок. Неизгладимо глубоко врезалась в мою память картина первой охоты на зайцев.

Мы сидим с отцом на обрывистом берегу пересохшего русла реки, слышь засыпанного желтой и белой галькой. Впереди за оврагом нескончаемой полосой зеленеют талы — невысокий луговой кустарник. Братья и двое казачат ушли туда с собаками. Отец, взволнованный и молчаливый, притаился меж кустами редкого тальника.

Я не дышу, я весь напряжен, как струна. Вокруг тишина, побеждающая солнце, утренние шумы полей; она повисла над нами тысячеугольной тяжестью. Но вот издали прорвался лай нашей пестрой собачки Летки — полугодного выродка. Я жадно пожирал глазами, слухом все окружающее нас. Отец смотрит напряженно перед собой, положив ружье со взведенными курками на колени. И вдруг я вижу, как из лесочка мимо нас тихо трусит, подскокивая на длинных задних ногах, серый большой заяц.

— Заяц!!! Папа!!! Смотри!!! — заревел я от обывших меня восторга и ужаса.

— С ума сошел. Молчи, — прицкнул на меня отец. Я молчал, хотя мимо нас бежал уже второй заяц. Отец приложил ружье к плечу. Все остановилось во мне и умерло. Я ждал. Выстрела не последовало. Шум и крики приближались. Я засмотрелся на зайца, увсехшего меж кустами, как неожиданно мой слух оглушил выстрел. Я и до сих пор не могу равнодушно слышать звука выстрела, но едва ли теперешнее мое волнение может, хотя бы в малейшей степени, походить на чувственный озноб той минуты. Порой мне кажется, это я до сих пор ощущаю этот своеобразный горьковато-удушливый запах от первого выстрела.

— Неси! — сказал мне отец горячим шепотом. Я и сам в ту секунду рванулся вперед, увидя вблизи бьющегося в смертельных судорогах серого, осенней окраски, зайца.

После нескольких неудачных выстрелов, разгорячивших нас с отцом до последней степени, я увидел, как

большой заяц, перевернувшись несколько раз через голову, растянулся на песке. Я бросился вперед и, споткнувшись о кочку, упал, сильно ударившись коленами о гальку. Боли я тогда не ощутил, я боялся потерять из виду добычу. Когда я приволок зайца, я ожидал увидеть на лице отца насмешливую улыбку, но он, не обратив на меня внимания, по-прежнему смотрел вперед взволнованно и напряженно. Ему было не до меня.

Позднее я стал охотиться вместе со старшим братом. Ходили мы со старой шомполкой, купленной отцом за три рубля на толчком рынке в г. Уральске. Дичи вокруг Каленовского поселка всегда было очень много. Достаточно было выйти на берег Ерика, чтобы досталась настрелять по уткам и куликам. Убивали мы тогда птиц довольно редко. Но это была не наша вина. Ружье наше вместо того, чтобы стрелять, обычно осекалось. Подползешь, бывало, к стае спящих уток или дремлющих по пескам куликов, приладишь ружье на кочке или на пенке и ждешь, когда утки сильуются в кучу. Если они продолжают спать, свистнешь, тогда они взорвутся, поднимут головы и насторожатся. Прицелишься по головам — и чик! — осечка вместо выстрела. Подсыпашь порошу на полку. Тогда ружье предательски «двоит»: сперва вспыхнет пистон и порох на полке, а через секунду уже грохнет и самый выстрел. Старый казак Карп Маркович, имевший такую же коварную флинтку, на моих глазах стрелял уток, и когда его ружье уже двоило, он вел стволом за утками и нередко случалось убивал

таким образом по несколько штук на один выстрел. То же самое происходило у нас и на охоте по серым куропаткам. Особенно зимой, когда порох в ружье отсыревал. Куропатки жили огромными стаями прямо на гумнах поселка. На ночь они сбивались меж скирдками сена. Иногда, подобравшись вплотную к дремлющей стайке, чикаешь по ним, потом бежишь домой, перезарядишь ружье и опять возвращаешься на старое место. За все время, помню, нам удалось убить не более десятка куропаток, хотя их там водятся тысячи, как в питомнике. Но зато сколько самой неподдельной радости было у нас, когда нам удавалось заповедать хотя бы одну куропатку.

Теперь уже миновали эти доисторические времена, и я заправский охотник. У меня английская безкурковая, и даже Георгий раздобыл себе центральную двухстволку. Правда, ее стволы всего десять вершков длины, у нее нет цевья, я бы не решился стрелять из нее, но и оно чуждо в сравнении с прежними ружьями.

С утра мы искали по огородам, по берегу Ерика дождевых червей, хотели было отправиться на «Сазанчу» порыбачить. «Сазанчей» называется место на Бухарской стороне Урала, крутой яр, место постоянной стоянки сазанов. Еще в прошлом году Георгий вдвоем с товарищем лавливали на этом месте за день по десятку сазанов.

Я давно уже поостыл к рыбалке, но сазанов ловить люблю до сих пор. Мой отец, больше спортсмен-рыбак, нежели промышленник, зарзалл всегда меня этой страстью. С семи лет я уже хаживал с ним за карпами.

С вечера он, бывало, обычно объявлял:

— Ну, ребята, ройте червей. Плачу за полсотни три копейки.

Ребята тащили ему жирных дождевых червей. А чуть минет полночь, он уже поднимает меня с постели, и мы идем с ним, поглядывая на гаснущие звезды на небе, на Урал или в верховье Ерика к «Думбаю», огромному, чуть не столетнему, погнившему скирду сена, где у нас было любимое место для рыбалки. Чуть коснутся воды нежно-розовые блики утренней зари, мы уже настроенно сидим на берегу с удочками в руках. Сазан всегда берет стремительно, опытный рыбак сразу отличит его лихой клев. Особенно хорошо помню одно утро. Не успели мы разсесться по местам, как у отца сазаны оборвали третью леску. Я стремглав понесся на стан за запасными удочками. Бегу обратно — отец стоит на верху берега, взволнованный, встрепанный, раскрасневшийся. — Последнюю леску порвал, — говорит он, задыхаясь от волнения. Садимся опять. Через несколько минут отец подсек огромного сазана, вскочил на ноги и начал его «мягать», вода на леске вдоль берега. Удилище гнулось, леска звенела, как струна, сазан то и дело вскидывался на поверхность, стараясь пересечь спинной своей пилой шелковый поводок. Минут десять, не меньше, возился с ним отец, пока решил вытянуть его, измаянного вконец, на берег. Рыба оказалась больше пятнадцати фунтов весом. Случалось и не раз подсекать крупных сазанов. Отец никогда не помогал мне вытаскивать рыбы, с улыбкой поглядывая

на мою возню. Временами казалось, что вот-вот сазан стащит меня с берега в воду, но я отчаянно боролся с рыбой, упершись в какой-нибудь пень на берегу. Случалось, что рыба вырывала у меня из рук удилще, тогда отец, посмеявшись надо мной, брал лодку и настаивал беглеца где-нибудь у каряги.

Нынешний год страшно засушлив. Знакомые казаки уже раньше говорили, что червей нам не найти. Мы облазали все знакомые нам места, рылись по баням, — червей нигде не было. Тогда мы решили бросить это безнадежное занятие и отправиться на луга с одним ружьями без удочек. Оседлали своих малолеток-аргамаков и тронулись за Ерик.

На речушке плавали под камышами с десятком чирушек, но мы не захотели задерживаться и напрямик выехали в луга. Я всю дорогу сильно жалел, что не было со мной моего пойнера Грайки: куропатки то и дело с треском вылетали из-под ног лошадей, уносясь в ближайший лесок. Утрами и вечерами они всегда выбегают пасти на широкие поляны. Похоже было на то, что мы проезжаем полосу заповедного питомника. Кроме куропаток, мы выпутнули две стайки стрелетов, переселившихся к осени на луга неуянувшей степи. А подальше от поселка увидели одиночку дрофу. Я попытался было подъехать к ней, но птица оказалась крайне осторожной и тотчас же взлетела и умахала за лес. Три раза спрыгивал я с лошади, когда вылетавшие стайки куропаток опускались на землю на наших глазах, но только раз мне удалось снова поднять их на воздух, так быстро убежали они, скрытые густой травой.

Я сбил пару серых птиц к большому изумлению Георгия, никогда не видавшего стрельбы влет.

Через час мы въехали в лес и увидели огромное плесо темной Новой старицы. Стаи уток плавали и летали над озером, но все они были недоступны для выстрелов. Мы проделывали дальше к Поколотой старице, вокруг которой, я знал, много удобных для охоты котлубаней. Георгий тянул меня на самую старицу, уверяя, что там тысячи уток. Я знал, что он говорит правду, но берега старицы заросли густым камышом, ширина ее больше сотни сажен и уток там не возьмешь. Я уступил настояниям молодого казака единственно из любопытства. Спутав жеребят и оставив их пасти на лугах, мы тихо подошли к берегам старицы. Сквозь густые заросли куты видны были сотни лысух и кряквов уток, мирно копошащихся на воде. Георгий полез в камыш по колена в воде и, высмотрев стаю уток поближе, выстрелил. Какой гвалт поднялся над старицей, сколько крыльев зашелестело над нашими головами! Я выбрал одну из стаяк кряквов и королевским выстрелом пустил вниз два заряда, но, видимо, неспешил: утки благополучно миновали меня, и только потом одна из них недалеко кувыркнулась через голову на зеленый луг. Георгий бежал по камышам, лоя подбитую чернеть. После выстрела утки расселись по середине старицы и мы, полюбовавшись ими, двинулись дальше. Около тальника я услышал резкий металлический крик серой куропатки: лунь настаивал одну из них, перелетая через кусты за ней. Скоро хищник камнем

опустился в траву и, видимо, схватил куропатку. Когда я подбежал поближе, лунь медленно поднялся с земли и, недовольно вращая желтыми белками глаз, низом полетел в сторону. За ним со звоном поднялась куропатка, я пустил ей вслед заряд мелкой дробы, и она, теряя мелкие перья, кубарем завертелась в воздухе. Спина у ней была сильно расклевана хищником, и она едва ли бы выжила и без моего выстрела.

В версте от Поколотой старицы мы наткнулись на ложину, залитую мелкой водой, поросшую лопухами и утиной травой. На воде чернели комочки уток самых различных пород. По илсто-му берегу расхаживало до десятка неуклюжих, высоких голубых цапель. Здесь были лугвини старых бахчей, теперь покрытых водою. Между двух полос воды шла невысокая гривка, поросшая старым сухим камышом. Под прикрытием камыша мы вплотную подобрались к уткам. Их было несколько сотен. Юрки, пискливые чирята шныряли меж лопухов, величавые шилохвости с длинными шеями медленно плавали по воде, жирные тяжелые кряквы копошились в тине, светлые крохали вертелись по середине старицы, чернет и серая утка большими стаями дремали на берегу. С минуту я удерживал Георгия от выстрела, стараясь вдоволь налюбоваться таким редким сборищем птиц. Затем я шепнул ему: — Бей. Он предложил стрелять вместе, но я снова повторил свое приказание. Тогда он пустил заряд за зарядом в уток, оставив на месте пару тяжелых кряквов. Утки не поняли, откуда в них стреляли, и в беспорядке заметались над камышом. Одна из цапель чуть не задела своими

длинными ногами за мою голову. Не меньше десяти раз успел я выстрелить по уткам, выбирая удобную цель. Мне посчастливилось сделать подряд три дуплета. Когда, перевернувшись в воздухе, шлепнулась на воду третья пара длинных шлоховостов, Георгий, загоревшимися глазами следивший за мной стрельбой, не выдержал и дико заорал:

— Ну и лихо же вы стреляете! Урру!

Я цыкнул на него и, высыпав на землю все свои патроны из патрон-таша, продолжал палить по уткам. Уже более полудтора десятка птиц лежали мертвыми комочками на воде, а утки продолжали еще кружить над озером. Первыми исчезли наиболее сообразительные кряквы, за ними улетели черныть и шлоховосты, а глупые чирки с писком вертелись вокруг нас и то и дело шлепались в нескольких шагах. Но мы их уже не били, выбирая только крупные породы.

Часа три шла непрерывная канонада. Утки не давали нам покоя ни на минуту. Георгий из-за них уронил в воду только что распечатанную полбутылку: пять кряковых утесили в пяти шагах от него. Он зычно обругался, когда его заряд, вздыбив воду, безвредно для уток камнем шаркнул по воде. К вечеру у меня осталось от сорока зарядов только пяток крупной дробы. Всего мы собрали тридцать шесть уток, да не меньше пяти подранков распознать по камышам. Георгий сильно сетовал на меня, что я не позволял собирать уток немедленно после выстрелов. Черные коршунья вилась над озером, опускаясь в траву за

подранками. Цаплы несколько раз возвращались на старое место. Пара черных бакланов медленно проследовали по направлению к Поколотой старице. Где-то за лесом, видимо, по пескам Урала, тоготали гуси.

В сумерках Георгий отправился за жеребьятами. Вернувшись через полчаса, заявил, что лошадей нет. Передохнув, снова ушел на поиски.

Вставала вечерняя заря. Стан уток, овда больше другой, со свистом пронеслись надо мной, многие стремительно шлепались в воду. Я пустил по стаям заряды крупной дробы, оставив на случай два патрона про запас. В окрестностях бродило, по рассказам каленовцев, немало волков. Кругом стоял стон от криканья уток, писка птиц и жирных вздохов лягушек. Вода на озере была сплошь покрыта перьями и кровью. Но это отпугивало только кряковых. Спустившись на воду, они в ту же секунду с испуганным криканьем поднимались столбом вверх и быстро улетали.

Скоро вернулся Георгий с жеребьятами. Нагрузив на седла полные мешок и сетку, мы шажком двинулись лугами без дороги. Густая, синяя тьма обнимала нас со всех сторон; сверху раскинулась звездная ширь; снизу с земли шли знакомые издавна мне луговые запахи трав, болотных цветов. Куропатки то и дело пугали нас и наших лошадей своим шумом. В стороне густо забуччала вышь. С Урала протянулись к степным озерам тяжелые гуси. А около Ерика очень низко пролетели, блеснувшие под лунным светом, белоснежные лебеди. Раньше по степям вокруг Каленого по озерам часто приходилось наткаться на лебединые выводки.

Одно лето у нас росли два лебедя, пойманные нами в степи. Ехали мы по вечерней заре с бахчей. Вдруг из степи налетел лебедь и, низко кружась, начал жалобно кричать, следуя за нами по дороге. Мы не догадались бы в чем тут дело, но нас нагнал казак Зарудин и объяснил нам, что где-то в стороне у лебедя гибнут дети. Мой старший брат и казак слезли с возов и пошли в сторону. Лебедь повел их в степь, указывая направление. Через час они вернулись и принесли на руках трех лебедят. Самка довела их вплотную до детей. По-видимому, озеро, где лебедь вывел весной детей, пересохло, и вот мать повела их по степи на другую воду, но у них не хватило сил и они уже умирали от жажды. Всю дорогу оттаивали лебедей арбузным соком, но один из них в эту же ночь подох, а два выросли и все лето плавали в домашних гусями. Осенью они как-то не вернулись с Ерика, исчезли, не то улетели, не то погибли от какого-то хищника. Кто-то из ребят уверял, что будто бы видел, как они снялись с воды и улетели вслед за пролетавшей мимо лебединой стаей.

Скоро впереди блеснул первый огонек: недалеко поселок. Вместе с огнем до нас долетели широкие звуки песни, знаменитой в крае «Уралки». Это пели молодые казачата, возвращавшиеся с лугов. Сотни раз я слышал и раньше эту песню. Слова ее довольно наивны, едва ли они являются народным творчеством, в них чувствуется искусственность и сочиненность, но мотив ее необычайно красив и широк. Он глубоко гармонирует с характером казачьей жизни, с природой — широкими степями,

отлогими берегами Урала, всегда открытым горизонтом полей. Это любимейшая песня казачат. Мы всегда распевали ее, возвращаясь по вечерам с рыбалки.

*Кто вечернею порою
За водой спешит к реке,
С распущенной косой,
С коромыслом на руке?*

Волнообразные, широкие, заливно-нарастающие звуки песни доносились до нас все яснее. Они были среди каленовских лугов так обычны, как вот эта, тихо гаснущая в далекой степи, заря. Казалось, что это поют не люди, а сама природа источает из себя такую своеобразную мелодию.

*Ясно вижу взор уралки,
Брови лоснятся дугой,
На груди неугомонной
Кудри стелются волной.*

*Это ты, моя землячка,
Узнаю твои черты,
Черноокая казачка,
Дева юной красоты...*

Сколько лет и сколько людей распевало по уральским степям и лугам эту песню?

Теперь ее поют все реже и реже. Скоро, вероятно, ее смелят уже другие песни с новыми словами, как старую жизнь и прежних людей смелят иные люди и другая жизнь! Старинные песни казачьи уже исчезают по станциям, и вечерами я слышал, как молодые казаки и казачки пели песни, принесенные в этот край из центральной России.

Ночью я записывал со слов Матрены Даниловны старинные песни. Я знал, что она в свое время была большая песельница. Может быть, эти песни уже не раз записаны были и прежде, но я все-таки привожу некоторые из них. Эти песни были в свое время любимейшими песнями молодых казачек в Каленовском поселке.

Подуй, подуй, погодушка
С восточной стороны.
Раздуй, раздуй погодушка
Калину во саду.
Калину со малиною —
Лазоревый цвет,
Смирненная беседашка,
Где милого нет.
Веселая компания,
Где милый мой пьет.
Он пьет, но пьет, голубчик мой,
За мной младого шлет,
А я млада-младешенька
Замешкалася
За усями, за утками,
За вольною за пташенькой,
За журонькою.
Как журонька по берегу
Похаживает,
Ковыль-траву шелковую
Поштывает,
За быстрюю за реченьку
Посматривает.
За быстрюю за речкою
Слободушка стоит.
Не малая слободушка
Четыре двора.
Во кажем во дворике
Четыре кумы.
Вы, кумушки, голубушки,
Подружки мои,
Кумитесь, любитесь,
Примите мене.
Вы пойдете в зеленый сад,

Возьмите мене.
Вы будете цветочки рвать,
Нарвите и мне.
Вы будете веночки вить, —
Вы свяите и мне.
Вы будете в реку бросать, —
Забросьте и мой,
У всех венки поверх воды,
А мой-то потонул,
У всех друзья с Москвы
пришли,
А мой-то не пришел.

Комарики звончатые мое,
Не даете, комарики, ночки
спать.
Чуть заснула перед светом
на заре,
Слышу, вижу свою милого
во сне.
Будто мой милый в высок
терем зашел
И к моей кровати подошел,
Шитый бранный положок
распахнул,
Соболино одеяльце
отряхнул
И вот начал меня целовать,
миловать,
Зовет меня во чисто поле
гулять.

Вечор ко мне, девушке,
соловушка прилетал,
Соловушка прилетал —
Молодец в гости пришел,
Звал, манил он девушку,
уговаривал с собой:
— Пойдем, пойдем, девушка,
во чисто поле гулять,
Во чистое полюшко,
во зеленые луга,

Возьмем, возьмем, девушка,
полотнян белый шапер,
Еще возьмем, девушка,
перинушку переву,
подушку пухову.
— Ложись, ложись, молодец,
дай в головке поищу,
Дай в головке поищу,
кудри русы расчешу,
Уснул, уснул молодец
у девушки на руке,
У девушки на руке,
на кисейном рукаве.
Встал, проснулся молодец,
нет ни девки, ни коня,
Нет ни белого шапра.
Заставила бестия в поле
пешему ходить,
В поле пешему ходить, плеть
во рученьке носить.

Ж вы, ночи мои, ночи темные,
Ночи темные, осенние,
И—эх, темные, осенние...
Надели мне, надоскучили,
С милым другом меня
поразлучили,
И—эх, поразлучили,
поразлучили...

Вот сама-то я глупо сделала,
И—эх, глупо сделала, глупо
сделала...
Своего дружка поразгневала,
И—эх, поразгневала,
поразгневала...
Назвала я его горькой
пьяницей,
И—эх, горькой пьяницей,
горькой пьяницей...
Уж ты плут, ты горький
пьяница,
И—эх, горький пьяница, горький
пьяница...
Ты вот пропил с меня цветно
платище,
И—эх, цветно платище, цветно
платище...
Еще пропил мою шаль
терновую,
И—эх, шаль терновую, шаль
терновую...
Шаль терновую, перевязочку
шелковую,
И—эх, перевязочку шелковую
да шелковую...

1927 год

ПРИМЕЧАНИЕ

- Стиль, орфография и пунктуация оставлены, в основном, авторские
 1 О книге см. ст. А.Г. Прокофьевой «Запрещённая книга В.П. Правдухина» // Гостиний Двор, № 33.2010 — С.325 — 331
 2 Слово «Оренбург» исследователи объясняют двояко: одни производят его от имени реки Ор, где теперь г. Орск и где впервые был основан Оренбург; другие «Орен» считают немецким словом: город-уши. Ухо России, обращённое к Азии



Галина МАТВИЕВСКАЯ

ТРУДЫ П. И. РЫЧКОВА В ОРЕНБУРГСКИХ ИЗДАНИЯХ XIX В.

Галина Павловна Матвиевская родилась в Днепротроiske. Вместе с семьей в 1941 г. переехала в Оренбург. Окончила математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Доктор физико-математических наук, член-корреспондент АН Узбекской ССР, академик АН Узбекистана, действительный член Международной академии истории науки. С 1994 г. – профессор Оренбургского государственного педагогического университета. Член Союза писателей России. Краевед, автор многочисленных работ по истории края. Лауреат премии «Оренбургская лира», Всероссийской литературной премии «Катинская дочка», Шолоховской премии «Они сражаются за Родину», премии имени Валериана Правдухина альманаха «Истинный Двор» (2009). Живет в Оренбурге.

Выдающийся учёный XVIII в., первый член-корреспондент Петербургской академии наук Пётр Иванович Рычков (1712-1777) был первым исследователем Южного Урала. В молодости он стал участником Оренбургской экспедиции 1734-1737 гг. под руководством И. К. Кирилова, а затем сотрудником действовавшей после неё Оренбургской комиссии. Оказавшись в далёком и в то время неизведанном Оренбургском крае, он связал себя с ним на всю жизнь и посвятил более 40 лет его всестороннему изучению. Труды П. И. Рычкова – прежде всего «История Оренбургская» и «Топография Оренбургской губернии» – получили высокую оценку современников и дали повод историкам назвать его Ломоносовым Оренбургского края.

В предисловии к «Истории Оренбургской» П. И. Рычков пишет: «В жизни человеческой ничто так быстрого течения не имеет, как самое время, которое при вседневной своей перемене всё с собой влечёт, а позади себя ничего более не оставляет, как одну обнажённую память;

но и сия, ежели не будет подкреплена писанием, время от времени помрачается и приходит в забвение». Обращаясь к будущим поколениям, автор выражает надежду, что его «достоверное описание» поможет сохранить то «забвения или неосновательного мнения» начало Оренбургской губернии и города Оренбурга, «о котором со всякою несомненною надеждою возможно сказать, что он со временем знатнейшим городам не уступит».

Это сочинение, действительно, представляет собой уникальный документ, запечатлевший события, которые происходили на Южном Урале в первой половине XVIII в., и особенно ценный тем, что эти события описаны их свидетелем и непосредственным участником.

Над «Историей Оренбургской» П. И. Рычков работал долгие годы. Рукопись основной части сочинения в 1749 г. получила одобрение крупнейшего русского историка XVIII в. В. Н. Татищева (1686 – 1750), критические замечания которого потребовали от автора некоторых исправлений и дополнений. Эта часть носила название «Известие о начале и состоянии Оренбургской комиссии по день наименования оной Оренбургской губернией и о делах киргиз-кайсаков, зонгорцев и других смежных с оною губернию народов». Она охватывала период с петровских времён до 1744 г.

Сочинение П. И. Рычкова начало печататься в 1759 г. в академическом журнале «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие», редактором которого был академик Г. Ф. Миллер (1705 –

1783). Тогда же П. И. Рычков выслал ему раздел «Прибавление», в котором описал события, происходившие в Оренбургской губернии с 1744-го по 1750 г. Этот раздел, появившийся в октябрьской и ноябрьской книжках журнала за 1759 г., завершил публикацию.

Отдельной книгой «История Оренбургская» при жизни П. И. Рычкова напечатана не была и к концу XIX в. практически оказалась недоступной читателям.

Второе замечательное сочинение П. И. Рычкова – «Топография Оренбургской губернии» – возникло как пояснительная записка к собранию географических карт губернии, которые были составлены в Оренбурге по решению губернской канцелярии, принятому в 1752 г. Работа велась под руководством геодезиста Ивана Крайникова и завершилась в 1755 г.

Двенадцать карт были объединены под общим названием «Ландкарты, или Чертежи географические Оренбургской губернии». Как указано на титульном листе, «для лучшего ж оных Ландкарт изъяснения приобщено к ним краткое особое гисторическое описание под именем «Топография Оренбургской губернии». В действительности это приложение было отнюдь не кратким и содержало обстоятельную и всестороннюю характеристику Оренбургской губернии. В нём представлен огромный историко-географический, краеведческий и востоковедческий материал, который П. И. Рычков собрал в ходе многолетней исследовательской работы.

«Топография Оренбургской губернии» состоит из двух частей. В

первой из них, написанной в 1755 г., шесть глав. Вначале (глава I) П.И. Рычков объясняет, откуда произошло название Оренбурга, и сообщает об истории возникновения города. Далее (глава II), описывая «Генеральную карту Оренбургской губернии и смежных с нею мест», он приводит сведения о народах, населяющих Зауральскую степь и ханства Средней Азии. В главе III представлено административное деление губернии, а в главе IV описаны народы, живущие на её территории (русские, татары, башкиры, мордва, чуваш, калмыки, киргиз-кайсаки и др.). Глава V содержит подробное географическое описание Оренбургской губернии (озёра, реки, горы и т.д.), а также сведения о полезных ископаемых и животном мире. В главе VI речь идёт о состоянии внутренней и внешней торговли в Оренбургской губернии.

Заключив первую часть «Топографии», П.И. Рычков отправил рукопись в Петербург М.В. Ломоносову с просьбой внимательно прочесть её и, исправив погрешности, представить для рассмотрения в Академию наук. Сочинение было высоко оценено академиком. По его рекомендации академическая конференция 31 июля и 2 августа 1755 г. обсудила этот труд и приняла решение опубликовать его. Позднее П.И. Рычков писал: «*Михайло Васильевич Ломоносов персонально меня знает. Он, получив первую часть моей «Топографии», письмом своим весьма её расхвалил, дал мне знать, что она от всего академического собрания апробирована; писал, что приятели и неприятели (употребляя точные его слова) со-*

гласились, дабы её напечатать, а карты вырезаны на меди».¹

В 1760 г. П.И. Рычков закончил работу над второй частью «Топографии», которая состоит из двенадцати глав и посвящена подробному описанию Оренбургской губернии.

Впервые «Топография» была опубликована в 1762 г. в академическом журнале «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие». Тогда же в Петербурге вышло отдельное издание под названием «Топография Оренбургская, то есть обстоятельное описание Оренбургской губернии, сочинённое коллежским советником и императорской Академии наук корреспондентом Петром Рычковым». Однако «Ландкарты», для объяснения которых она была написана, так и не были напечатаны.

«Топография» сразу привлекла внимание в России и за рубежом. Академик А.Л. Шлёцер в 1766 г. печатал в Гёттингенском научном журнале хвалебную рецензию на неё, а само сочинение было дважды опубликовано полностью в немецком переводе — в 1767 г. в Гамбурге и в 1772 г. в Риге.

П.И. Рычков, учёный и писатель, прославленный в XVIII в., был практически забыт в начале следующего столетия. Интерес к нему и к его творчеству возродил академик П.П. Пекарский (1828 — 1872), который 29 декабря 1865 г. выступил на торжественном заседании Академии наук с докладом «Сношения П.И. Рычкова с Академиею наук в XVIII веке». В 1867 г. он опубликовал капитальное исследование «Жизнь и литературная переписка Петра Ива-

новича Рычкова»,² основанное на изучении трудов учёного и архивных материалов. Высоко оценив роль П.И. Рычкова в науке и культуре России XVIII в. и назвав его представителем лучших людей современного ему общества, П.П. Пекарский особо отметил его заслуги в изучении Оренбургского края. Он заключил, что П.И. Рычков «не забудется в истории русской литературы как писатель, оставивший достоверные и разнообразные сведения о малоизвестном в его времена крае и о событиях, которые там совершались на его глазах». Относительно «Топографии Оренбургской» П.П. Пекарский заметил, что она «остаётся единственной справочной книгой, без которой нет никакой возможности обойтись, как скоро речь заходит о состоянии Оренбургского края в прошлом столетии».

Исследования П.П. Пекарского привлекли внимание оренбургского краеведа Руфа Гавриловича Игнатьева (1818 — 1886). Человек широких интересов, он занимался историей и археологией Южного Урала, этнографией и фольклором населяющих его народов, увлечённо изучал архивные документы, рассказывающие об историческом прошлом Оренбургского края. Результаты своих поисков он отразил в многочисленных статьях, публиковавшихся в газетах и различных периодических изданиях.³

Р.Г. Игнатьев откликнулся на работу П.П. Пекарского в газетах «Уфимские губернские ведомости» (1867, № 16 — 17) и «Оренбургские губернские ведомости» (1867, № 7), а два года спустя в «Справочной книжке Оренбургской губернии на 1870

год» опубликовал статью «Об учёных трудах П.И. Рычкова». С этих пор Р.Г. Игнатьев стал активным пропагандистом творчества Рычкова и впервые высказал мысль о необходимости переиздать его сочинения.

Прежде всего, по мнению Р.Г. Игнатьева, следовало опубликовать «Топографию». Он обратился с этим предложением сначала в Оренбургский статистический комитет, а затем в созданный в 1867 году Оренбургский отдел Императорского Русского Географического общества (РГО), членом-сотрудником которого он вскоре был избран. В Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) хранится переписка, которую Р.Г. Игнатьев, живший в Уфе, вёл по этому поводу с Отделом в 1871 — 1880 годах.⁴ Содержание этой переписки отражено также в протоколах заседаний Оренбургского отдела РГО.⁵

В письме от 12 сентября 1871 года Р.Г. Игнатьев поставил вопрос: «*Не найдёт ли Отдел возможным в трудах своих перепечатать Оренбургскую топографию Рычкова, теперь уже составляющую библиографическую редкость и достояние очень немногих библиотек; тогда как учёное её достоинство для нашего края не потеряло своего значения и, как древние летописи для истории, так точно труд Рычкова служит всегда основанием для описания Оренбургского края... Деятельность П.И. Рычкова, этого замечательного писателя XVIII века, была ещё посвящена нашему краю, и наш край ничем не может воздать так долг Рычкову, как изданием его сочинений и в особенности его Орен-*

*бургской топографии, заключающей вместе и историю края».*⁶

Игнатьев был готов предоставить Отделу экземпляр этого редкого труда и брался написать предисловие и комментарии для нового издания.

На заседании Отдела 23 октября 1871 года предложение Р.Г. Игнатьева было признано «выполне заслуживающим внимания», но осуществить его из-за отсутствия у Отдела необходимых средств, казалось, не удастся. В поисках выхода из положения Р.Г. Игнатьев решил обратиться с просьбой о материальной поддержке к проживавшему в столице оренбургскому уроченцу действительному статскому советнику Ивану Федоровичу Базилевскому, «который для здешнего края готов на всякую жертву».⁷ К делу он привлек А.В. Черникова-Анучина, управляющего уфимскими имениями Базилевского, и они добились полного успеха. В письме от 25 августа 1872 года Р.Г. Игнатьев сообщил: «Господин Базилевский, вследствие моего ходатайства и г. Анучина тоже, разрешил выдать мне из сумм управления более трехсот рублей на издание Оренбургской топографии Рычкова».⁸

Дело, однако, пошло не совсем так, как Р.Г. Игнатьев вначале предполагал. У него возникла идея переиздать опубликованный в 1762 году текст «Топографии Оренбургской» Рычкова вместе с картами к ней, которые в своё время остались неопубликованными и хранились в библиотеке Академии наук в Петербурге. И.Ф. Базилевский вполне одобрил «эту прекрасную мысль». В письме от 21 октября 1872 года он сообщил

Игнатьеву, что «поручил навестить справки по этому предмету» и заключил, что, если Оренбургский отдел РГО «обратится в Академию с просьбой о высылке означенной рукописи, то Конференция Академии наук, вероятно, не встретит затруднений в удовлетворении этой просьбы, потому что в интересах Академии — делать её редкие рукописи, сколько можно, доступные для публики, а не хранить только в стенах библиотеки».⁹ Своё письмо И.Ф. Базилевский заключил словами: «Если Вы по получении академической рукописи примете на себя труд издания карт Красильникова, то с моей стороны на это издание, по получении от Вас известия, будет назначена денежная помощь».¹⁰

2 декабря 1872 года Оренбургский отдел РГО послал в Академию наук запрос, на который был получен отрицательный ответ. Академик Я.К. Грот уведомлял, что «Общее собрание Академии наук, предполагая, что воспроизведение этих чертежей будет сделано в Санкт-Петербурге, выразило мысль, не найдёт ли Оренбургский Отдел более удобным для избежания пересылки такого драгоценного манускрипта на столь далёкое расстояние поручить кому-либо труды над этой рукописью здесь на месте».¹¹ Возможности командировать кого-нибудь в Петербург у Отдела в то время не нашлось, и дело остановилось.

Шло время, но Р.Г. Игнатьев не сдавался. Спустя почти три года, 3 марта 1876 года он опять обратился к правителю дел отдела А.И. Оводову с просьбой: «Не можете ли снес-

тись с кем-либо из членов Отдела в Петербурге, не возьмут ли они на себя скопировку карт, находящихся в Академии наук, для Оренбургской топографии Рычкова; надо уже это дело кончать. Если кто из гг. членов Отдела за это возьмётся, то о средствах я перепису с г. Базилевским».¹²

На этот раз члены отдела, обсудив письмо Р.Г. Игнатьева на заседании Отдела 4 марта 1876 года, вынесли решение: «Пользуясь пребыванием в настоящее время в Петербурге действительного члена М.Н. Лебедева, обратиться к нему с просьбой принять на себя труд руководства при копировании «Ландкарт» после сношения с г. Базилевским, о чём уведомить г. Игнатьева для немедленного сообщения жертвователю».¹³

Военный топограф полковник Михаил Николаевич Лебедев отнёсся к просьбе членов отдела очень серьёзно. Он осмотрел «Ландкарты», проконсультировался с чертёжниками и пришёл к выводу, что лучше отказаться от мысли сделать копию с оригинала при помощи чертёжника, отдав предпочтение фотографии. Доказывая правильность этого решения, он отмечал: «Фотография будет иметь один только недостаток сравнительно с копией, исполненной чертёжником, — на ней не будут переданы различия цветов. Зато она представляет чрезвычайные преимущества, заключающиеся в совершенной верности шмичка оригиналу не только в корректурном смысле, но даже касательно передачи всех особенностей черчения, каллиграфии и правотисания оригинала».¹⁴

На вопрос Лебедева, согласен ли отдел с его предложением, ответ был дан телеграммой, отправленной 3 мая, сразу же после получения его письма. В ней значилось: «Отдел просит фотолитографировать Ландкарты, если Базилевский согласится покрыть расходы издания. Срок безразличен».¹⁵

Теперь, казалось, успех издания «Ландкарт» был обеспечен. Когда Р.Г. Игнатьев в письме от 26 ноября 1876 года напомнил, что в будущем году исполнится сто лет со дня кончины П.И. Рычкова, и предложил отметить эту дату, то на заседании отдела, 4 декабря, где обсуждалось это письмо, прозвучало, что «прекрасным воспоминанием о Рычкове... будет приготавливаемое ныне Отделом издание его «Ландкарт»».¹⁶ Надежды, однако, оказались напрасными. В связи с Русско-турецкой войной выполнение оренбургского заказа Картографическим заведением Главного штаба замедлилось.

Между тем Р.Г. Игнатьев, который постоянно напоминал о П.И. Рычкове и необходимости изучения его наследия, перевёлся на службу в Минск. Он писал 15 марта 1877 года: «В Минске я не оставлю труда для Отдела, отнюдь не желая слагать звания члена-сотрудника, а, напротив того, имея у себя много ... материалов, могу быть полезен; не говоря уже о моём настоящем прямом участии в издании Топографии Рычкова».¹⁷ Ему пришлось объяснять задержку своих дополнений к этому изданию, которые он уже давно обещал представить в Отдел. «Предисловие к предполагаемому изданию, — писал он, — и необходимые

комментарии будут доставлены особо, так как по домашним обстоятельствам я не мог их оканчить».

Уезжая из Уфы, Р.Г. Игнатьев прислал в отдел экземпляр академического журнала «Ежемесячные сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие» за 1762 год, в котором была впервые опубликована «Топография» П.И. Рычкова. Его предполагалось использовать при подготовке нового издания.

Печатание «Ландкарт» в Петербурге продолжалось до лета 1877 года, а к моменту его завершения случилось непредвиденное: скончался Иван Фёдорович Базилевский. Узнав об этом, встревоженный А.И. Оводов отправил 23 мая заказное письмо находившемуся тогда в столице председателю отдела А.К. Гейнсу, в котором писал: «Узнав, что Ваше Превосходительство предполагает пробыть ещё некоторое время в Петербурге, я позволяю себе представить благоусмотрению Вашему следующие соображения, вызванные прочитанным мною в местной прессе известием о смерти члена-соревнователя Отдела действительного статского советника И.Ф. Базилевского. Покойный ... обещал покрыть издержки на самое капитальное в буквальном и переносном смысле предприятие — издание Ландкарт Рычкова, печатающихся в Картографическом заведении Главного штаба. Так как труд этот до настоящего времени не окончен и, следовательно, не оплачен, то представляются два вопроса: во-первых, не может ли смерть г. Базилевского повлиять на верность и своевремен-

ность уплаты денег за печатание «Ландкарт», вследствие неизмения в Отделе письменного обязательства в том же на Базилевского, а вторых, не было ли бы полезным, если Ваше Превосходительство признает возможным лично в Петербурге удостовериться в обстоятельствах дела и уладить недоразумения, если они существуют, с наследниками жертвователя?».¹⁸

Тревога оказалась напрасной. Сын покойного меншета Фёдор Иванович Базилевский решил продолжать дело отца и с готовностью выполнил все его обязательства.

Печатание «Ландкарт» было закончено. В Оренбургский отдел РГО пришло письмо из Петербурга от 3 марта 1878 года за подписью генерал-лейтенанта Штубендорфа о том, что «первая посылка, состоящая покуда из 200 экземпляров, разбитых по 25 экземпляров в восемь ящиков, высылаются, а остальные будут препровождены позднее».¹⁹

В следующем письме, датированном 18 октября, сообщалось: «По поручению генерала А.К. Гейнса Картографическое заведение Военно-топографического отдела поднесло действительному статскому советнику Ф.И. Базилевскому от имени Оренбургского отдела Императорского Русского Географического общества один экземпляр Ландкарт Рычкова в роскошном переплёте с следующей надписью: «Сыну покойного жертвователя на издание Ландкарт Рычкова Фёдору Ивановичу Базилевскому, Оренбургский отдел Географического общества».²⁰

Оставшиеся экземпляры «Ланд-

карт» были высланы в Оренбург 27 марта 1879 года. После получения листов с картами их предстояло сброшюровать и снабдить предисловием. Таким образом, местом издания «Ландкарт» Рычкова становился Оренбург. Но чтобы довести дело до конца, требовалось затратить ещё немало труда. В Оренбургском отделе РГО к этому времени произошли новые перемены: уехали переведённые по службе в столицу председатель отдела А.К. Гейнс и его заместитель М.Н. Лебедев, которые немало содействовали успеху всего предприятия. Продолжать работу должна была специально избранная комиссия, в которую вошли активные члены Общества П.Н. Располов и Н.Е. Северный.

В окончательном виде атлас получил название: «Оренбургская губерния с прилегающими к ней местами по «Ландкартам» Красильникова и «Топографии» Рычкова 1755 года. Издано на средства Ивана Фёдоровича и Фёдора Ивановича Базилевских Оренбургским отделом Имп. РГО. Оренбург. 1880». В предисловии описана история этого издания, причём отмечена роль, которую сыграл в ней Р.Г. Игнатьев, а также дан подробный анализ карт и сопровождающего их текста. Из документов архива видно, что Оренбургский отдел РГО проделал большую работу по рассылке «Ландкарт» во многие учреждения и научные общества России. На заседании 27 сентября 1881 года правитель дел отдела А.И. Оводов доложил о передаче членам и корреспондентам отдела «Ландкарт» Рычкова, о цене, назначенной за атлас, и о рекламировании издания в научных журналах и прессе.

Великолепное издание, представляющее собой образец полиграфического искусства, вышло в свет очень небольшим тиражом и вскоре стало библиографической редкостью. (В 2007 году атлас был переиздан в Оренбурге, в издательстве «Печатный дом Димур» А.А. Чибилёвым при материальной поддержке А.И. Зеленова — авт.).

Оренбургский отдел РГО воспринял выход из печати «Ландкарт» лишь как первый успех на пути к решению главной задачи — переизданию «Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова. Перепечатка текста сочинения не представляла больших сложностей, но отсутствовали предисловие и комментарии, составить которые взялся Р.Г. Игнатьев. В отчёте Отдела за 1868-1878 годы говорится: «Издание «Топографии» Рычкова, оригинал которого доставлен уже в Оренбург г. Игнатьевым, остановилось ныне за неприсылкою от этого последнего обещанных им дополнений».²¹

Этих дополнений Р.Г. Игнатьев так и не представил. Другие занятия поглотили его внимание и отвлекли от дела, за которое он когда-то так горячо взялся. В Минске, где он был редактором газеты «Минские губернские ведомости», Игнатьев пробыл три года, а затем переехал в Оренбург. Генерал-губернатор Н.А. Крыжановский 4 мая 1880 года зачислил его в штат своей канцелярии,²² имея в виду, что он займётся написанием истории Оренбургского края. Но вскоре, весной 1881 года, генерал-губернаторство было упразднено, Н.А. Крыжановский уехал из Оренбурга, а Р.Г. Игнатьев, как и другие

чиновники генерал-губернаторской канцелярии, остался не у дел. Тем не менее, его активная исследовательская работа не приостановилась. Он стал редактором неофициальной части «Оренбургских губернских ведомостей» и опубликовал в этой газете много статей, в том числе большой цикл работ, объединённых названием «Взгляд на историю Оренбургского края». Изучение архивных материалов и разносторонняя общественная деятельность не оставили ему возможности завершить начатую когда-то работу над «Топографией» Рычкова.

Только после кончины Р.Г. Игнатьева, последовавшей 2 января 1886 года в Уфе, было решено издать «Топографию» Рычкова «как она есть», т.е. без комментариев. Для получения денежной поддержки предстояло опять обратиться к Ф.И. Базилевскому, связь с которым у отдела уже не было. Его петербургский адрес сообщил друг Р.Г. Игнатьева член-сотрудник отдела А.В. Черников-Анучин, а осенью 1886 года в отдел пришло следующее письмо:

«Сочувствуя благой цели, выраженной в письме ко мне от 14 марта текущего года за № 202, я с величайшим удовольствием жертвую и прилагаю к сему четыреста рублей, потребные Отделу на издание «Топографии» Рычкова, и желаю полного успеха в деле, принятом Отделом для пользы Оренбургского края.

Действительный статский советник, действительный член Императорского Русского Географического Общества

*Фёдор Иванович Базилевский.
7 октября 1886 г.»²³*

Книга вышла из печати в 1887 году. В новом издании она получила название «Топография Оренбургской губернии. Сочинение П.И. Рычкова 1762 года».

Спустя несколько лет в Оренбурге был поставлен вопрос об издании «Истории Оренбургской» П.И. Рычкова. 25 декабря 1894 г. в газете «Оренбургский листок» появилась заметка под названием «Библиографическая редкость». В ней сообщалось, что на заседании Оренбургского губернского статистического комитета его секретарь Н.М. Гутьяр доложил, что в городской общественной библиотеке хранится рукопись XVIII в., «заключающая в себе исправную копию с первоначальной редакции «Истории Оренбургской» Рычкова, составленной до 1744 г.». Докладчик заявил, что этот труд «следовало бы вновь напечатать с теми дополнениями, какие появились потом в названном академическом журнале и какие находятся в самой рукописи, как составленной значительно раньше».

Далее в заметке говорилось, что член Статистического комитета, редактор-издатель газеты «Оренбургский листок» И.И. Евфимовский-Мировицкий «в интересах местной историографии выразил готовность напечатать труд Рычкова в своей газете в течение будущего 1895 года», а Статистический комитет с этим согласился. «Таким образом, — заключал автор заметки, — оренбургский Нестор П.И. Рычков опять станет источником для любознательного исследователя местной истории».

Действительно, в 1895 г. «Исто-

рия Оренбургская» была опубликована на страницах «Оренбургского листка», а в начале 1896 г. Оренбургский губернский статистический комитет выпустил её отдельным изданием под редакцией и с примечаниями Н.М. Гутьяра. Книга была напечатана в типографии И.И. Евфимовского-Мировицкого.²⁴

Это издание основывалось на упомянутой выше рукописи «Истории Оренбургской», которая, как свидетельствовали надписи и печать на переплёте, была куплена на аукционе у дворянина Евдокима Иванова Демидова» и принадлежала библиотеке при канцелярии оренбургского и самарского генерал-губернатора В.А.Перовского (1795 — 1857). По видимому, речь идёт о рукописи, упоминавшейся в записке попечителя этой библиотеки В.В. Григорьева от 1 июня 1855 г., которая обнаружена в одном из дел ГАОО.²⁵ В ней сказано, что среди книг, полученных библиотекой «в качестве даровых приношений», значится рукопись под названием «Известие о начале и состоянии Оренбургской комиссии. Собрано из происходивших в сей комиссии дел, 1744 года».

В рукописи, обнаруженной Н.М. Гутьяром, не хватало девяти параграфов. При издании он пополнил их текстом, опубликованным в 1759 г. Соответствующий том «Ежемесячных сочинений и переводов к пользе и увеселению служащих» был случайно приобретён им — «за 10 копеек на местном толчке». К сожалению, в этом экземпляре журнала отсутствовал один листок.

Таким образом, в издании 1896 г. текст «Истории Оренбургской» имел

ряд пропусков. Они были заполнены в 1916 г. в статье члена Оренбургской учёной комиссии П.В. Жуковского.²⁶ По словам автора, воспользовавшись своим пребыванием в Петербурге, он сверил издание Статистического комитета с первоначальным изданием «Истории», восстановил недостающие в издании параграфы и внёс уточнения там, где оставались небольшие пробы из-за неразборчивого текста рукописи.

Редактор издания 1896 г. Н.М. Гутьяр проделал огромную работу по расшифровке рукописного текста XVIII в. и подготовке его к печати. Он составил комментарии к тексту, которые и сейчас могут быть полезны исследователям. Кроме того, он сопроводил книгу именным указателем.

Публикация «Истории Оренбургской» П.И. Рычкова явилась важной заслугой Н.М. Гутьяра перед русской исторической наукой конца XIX в. Поэтому возникает естественный интерес к личности этого человека, о котором известно очень мало. Сведения об оренбургском периоде его жизни удалось обнаружить в документах ГАОО.

Николай Михайлович Гутьяр (1866 — 1930) приехал в Оренбург в 1892 г. после окончания Московского университета.²⁷ Он прошёл курс историко-филологического факультета, был оставлен при университете на три года для подготовки к профессорскому званию, после чего получил назначение в Оренбургский учительский институт в качестве преподавателя истории и географии. В 1894 г. на основе института было открыто реальное училище, и Н.М. Гутьяр продолжил работу в этом

учебном заведении. Кроме того, с 1895 г. он давал уроки в Оренбургской женской гимназии.

С самого начала молодой преподаватель активно включился в общественную и культурную жизнь Оренбурга. Уже в 1893 г. он стал секретарем Оренбургского губернского статистического комитета и в 1895 г. в награду за работу в этой должности получил орден Св. Станислава 3-й степени. В 1896 г. он был отмечен премией за составление статистических таблиц об учебных заведениях Оренбургского учебного округа, а в 1897 г. — медалью за труды по Первой Всеобщей переписи населения.

Проявляя интерес к местному краеведению, Н.М. Гутьяра стал активным членом Оренбургской учёной архивной комиссии. Важное место в его работе занимала просветительская деятельность: он систематически выступал с докладами по истории и литературе перед учащимися реального училища, с публичными лекциями на разные темы и со статьями в «Оренбургском листке» и «Оренбургской газете».

Такая напряжённая профессиональная и общественная активность не мешала научным изысканиям Н.М. Гутьяра как литературоведа.²⁸ В 1897 г. он опубликовал работу «Воспоминания о Ф.И. Буслаеве», а в 1898 — 1899 гг. — целую серию статей в «Оренбургской газете» и «Трудах Оренбургской учёной архивной комиссии» об И.С. Тургенева, исследованием творчества которого он занимался долгое время. Впоследствии результаты этой работы были обобщены в книгах Н.М. Гутьяра, вышедших в Юрьеве (1907 г.) и в Петербурге (1910 г.).

Активная творческая деятельность Н.М. Гутьяра прервалась в

1899 г. из-за тяжёлой болезни жены, а после её смерти в 1900 г. он покинул Оренбург и переехал в Ригу.²⁹

Выход из печати «Истории Оренбургской» был отмечен местной печатью как важное культурное событие. В газете «Оренбургские губернские ведомости» за 27 апреля 1896 г. появилась редакционная статья, в которой отмечалось, что сочинение П.И. Рычкова «является документом очень важным, почти совершенно неизвестным первоисточником одного из любопытнейших движений нашей истории — колонизации юго-восточной окраины», а сведения о его авторе можно получить только из «довольно редкой теперь книги академика Пекарского». Поэтому новое издание «составляет крупный вклад в историческую литературу об Оренбургском крае и служит прекрасным пособием при различного рода исторических сочинениях». Желая изданию успехов, автор статьи, редактор «Оренбургских губернских ведомостей» Н.Г. Иванов заключил: «Стремление изучить родную историю считается первым признаком культуры, и мы надеемся, что с содержанием «Истории Оренбургской» познакомится не только интеллигентные люди, но и посетители народных читален».

7 января 1897 г. в том же печатном издании (которое с этого года стало называться «Оренбургской газетой») была напечатана небольшая заметка, которая представляла собой извлечение из развёрнутой хвалебной рецензии Н.А. Ардашева, помещённой в «Журнале министерства народного просвещения». В ней, в частности, подчёркивалась достоверность фактов, изложенных в сочине-

нии П.И. Рычкова, поскольку он сам участвовал в описанных им событиях. «С одинаковой лёгкостью, — отметил автор заметки, — приводит он в своей истории целиком официальные документы, а равно и оживляет изложенное свежими подробностями своих личных впечатлений и наблюдений».

Таким образом, издание 1896 г. фактически вернуло «Историю Оренбургскую» из забвения. Хотя это провинциальное издание не блистало в полиграфическом отношении и книга вышла малым тиражом, труд П.И. Рычкова стал доступен специалистам-историкам, изучавшим его творчество. Следует также помнить, что это издание оставалось единственным в течение целого столетия.

Только в 2001 г. в Уфе появилось новое издание «Истории Оренбургской», которое воспроизвело текст сочинения, опубликованный при жизни автора в «Ежемесячных сочинениях» в 1859 г.³⁰ Оно предпринято Центром этнологических исследований при Уфимском научном центре РАН, Отделением гуманитарных наук Академии наук Республики Башкортостан и Самарским государственным университетом. Ответственным редактором является член-корреспондент РАН, академик АНРБ Р.Г. Кузев. Подготовкой к печати осуществлена И.В. Кучумовым, и ему же принадлежит примечания, указатель и глоссарий.

Вводная статья, написанная И.В. Кучумовым и Ю.Н.Смирновым,³¹ содержит основательное исследование «Истории Оренбургской». Авторы отмечают, что «современная наука оценивает «Историю...» как труд, до сих пор не имеющий аналогов по глубине и охвату событий, выпав-

ших на время Оренбургской экспедиции и первые годы существования Оренбургской губернии». Естественно, что издателей этот труд интересует, прежде всего, как «первое в мировой историографии сочинение по истории Башкортостана».

От редакции: Сегодня в Оренбурге осуществлена ещё одна публикация «Истории Оренбургской». Этот труд включён в третий том издания «Жизнь и деятельность П.И. Рычкова», начатое в 2008 г. в преддверии 300-летнего юбилея учёного, который будет отмечаться в этом году. Издание, задуманное главой Оренбургского книжного издательства Г.П. Донкоцевым, знакомит читателей с основными трудами П.И. Рычкова. Первый том, который вышел из печати в 2008 г., содержит биографические материалы о П.И. Рычкове и его потомках. Во второй том, вышедший в 2009 г., включено исследование П.П. Пекарского «Жизнь и литературная переписка П.И. Рычкова». Сюда же вошли 38 статей П.И. Рычкова, напечатанные в 1758 — 1773 гг. в «Ежемесячных сочинениях и переводах к пользе и уселению служащих» и «Трудах Волного экономического общества» и никогда не переиздававшиеся.³²

В третьем томе объединены труды П.И. Рычкова по истории, и, прежде всего, «История Оренбургская», причём текст печатается по оренбургскому изданию 1896 г. На оренбургском издании 1887 г. основывается публикация «Топография Оренбургской губернии», вошедшая в четвёртый том.

ЛИТЕРАТУРА:

- ¹ П.П. Пекарский. Сношения П.И. Рычкова с Академиею наук в XVIII веке. СПб., 1866. С. 16.
- ² П.П. Пекарский. Жизнь и литературная переписка Петра Ивановича Рычкова. // Жизнь и деятельность П.И. Рычкова. Т.П. 2009. Оренбург: ООО «Губерния». Под ред. Г.П. Матвиевской. С. 53.
- ³ Зобов Ю.С. Знаток древностей края // Ю.С. Зобов. Историки и исследователи Оренбургского края. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. С. 141-167.
- ⁴ ГАОО, ф. 94, оп. 1, № 29.
- ⁵ ГАОО, ф. 94, оп. 1, №№ 6, 33, 36. См. также Журналы заседаний Оренбургского отдела РГО. Оренбург. 1879.
- ⁶ ГАОО, ф. 94, оп. 1, № 29, лл. 1-10б.
- ⁷ Там же, л. 6 об.
- ⁸ Там же, л. 8 об.
- ⁹ Там же, лл. 13-13 об.
- ¹⁰ Там же, л. 15.
- ¹¹ Там же, л. 36 об.
- ¹² Там же, лл. 38 – 38 об.
- ¹³ Журналы заседаний Оренбургского отдела Им. РГО с 6 ноября 1874 по 22 апреля 1877 г. Оренбург. 1879. С. 57.
- ¹⁴ ГАОО, ф. 94, оп. 1, № 29, лл. 42-44 об.
- ¹⁵ Там же, л. 45 об.
- ¹⁶ Журналы заседаний Оренб. отдела Им. РГО с 6 ноября по 22 апреля 1877 г. Оренбург, 1879. С. 71
- ¹⁷ ГАОО, ф. 94, оп. 1, № 29, л. 56.
- ¹⁸ Там же, лл. 59-60

¹⁹ Там же, лл. 61-61 об.

²⁰ Там же, лл. 62-64 об.

²¹ Оренбургские губернские ведомости. 1879. № 34 (25 августа)

²² ГАОО, ф. 6, оп. 6, № 14641, л. 10

²³ ГАОО, ф. 14, оп. 1, № 4, л. 46.

²⁴ Рычков П.И. История Оренбургская (1730-1750). Издание Оренбургского губернского статистического комитета. Под редакцией и с примечаниями Н.М. Гутьяра, секретаря Комитета. Оренбург. 1896.

²⁵ ГАОО, ф. 6, оп. 6, № 1321, л. 98.

²⁶ Жукковский П.В. Дополнения к «Истории Оренбургской» П.И. Рычкова // Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. 1916. Вып. 33. С. 99-116.

²⁷ ГАОО, ф. 82, оп. 1, № 174.

²⁸ Прокофьева А.Г., Прокофьева В.Ю., Федосова О.В., Хомутов Г.Ф. Литературное Оренбуржье. Библиографический словарь. Оренбург: Оренбургская книга, 2006. с. 62.

²⁹ ГАОО, ф. 82, оп. 1, № 47, л. 21; № 48, л. 33; № 64, лл. 22 об., 74 об., 77 об.).

³⁰ Рычков П.И. История Оренбургская по учреждению Оренбургской губернии. Уфа, ЦЭИ УНЦ РАН, 2001.

³¹ Кучумов И.В., Смирнов Ю.Н. Первый труд по истории Башкортостана // П.И. Рычков. История Оренбургская по учреждению Оренбургской губернии. Уфа, ЦЭИ УНЦ РАН, 2001. С. V-XXX.

³² Жизнь и деятельность П.И. Рычкова. Т. I. 2008. Т.П. 2009. Оренбург: ООО «Губерния». Под ред. Г.П. Матвиевской.



Василий Алексеевич Перовский (1795-1857) – российский государственный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, граф, участник Отечественной войны 1812 года и Русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В 1833-1842 годах оренбургский военный губернатор, в 1851-1857 годах оренбургский и самарский генерал-губернатор. Командир Отдельного оренбургского корпуса, организатор двух военных походов в Среднюю Азию – Хивинского и Кокандского.

Василий ПЕРОВСКИЙ

1812 ГОД. В ПЛЕНУ У ФРАНЦУЗОВ

Незаконченные воспоминания В.А. Перовского о пребывании во французском плену впервые были напечатаны П.И. Бартенёвым в 1865 году в журнале «Русский архив» под заглавием «Из записок покойного графа Василия Алексеевича Перовского». Издатель писал: «За сообщении этих отрывков и дозволение их напечатать мы обязаны признательностью брату автора – графу Борису Алексеевичу Перовскому». В конце публикации П.И. Бартенёв заметил: «Тут, к сожалению, прерываются записки графа В.А. Перовского. Что было дальше, нам неизвестно, и мы не знаем, как освободился из французского плена этот энергичский человек...»

Второй раз воспоминания В.А. Перовского опубликовал в 1901 году И.Н. Захарьин (Якунин)¹; он сообщил, что описание плена у французов В.А. Перовского «печатается с рукописи, исправленной рукою В.А. Жуковского».¹

«1812 год, достопамятный всем русским, памятен в особенности мне; мало из соотечественников терпели то, что я, а те, которые и были мне товарищами в мучениях, не существуют больше.

В продолжение всей кампании 12-го года до Москвы, будучи квартирмейстерским офицером, находился я при казацких полках, составлявших аррьергард 2-й армии. Накануне вступления неприятеля в столицу отпросился в оную, дабы ещё раз побывать в Москве и дома; 1 сентября, перед вечером, вехал я верхом в город с двумя казачками, при мне находившимися. Не буду описывать то, что я чувствовал тогда; описать трудно и невозможно, а чувство это известно всем русским, бывшим тогда в армии или в Москве. Переночевав дома, на другой день, 2 сентября утром, ездил я по городу по служебным делам и надобностям. Беспокойство приметно было во всем уличам, но многие лавки ещё были открыты, и в них торговали по обыкновению, что всеядло обманчивое спокойствие во многих жителей и было потом причиной их гибели. Возвратившись домой, отправился я из города через ближнюю заставу (Лефортовскую); час был, я думаю, пятый. Отъехав с версту от города вправо, увидели мы конницу, и хотя от нас ещё довольно далеко, но можно было различить, что тут была и наша, и неприятельская. Подъехал ещё ближе, велел я казачкам подождать меня, а сам поскакал к стоящим вместе верхом офицерам. То был наш генерал-майор Па-ев и фран-

цузский генерал Себастиани со своими адъютантами; у одного из последних спросил я о предмете разговора обоих генералов и узнал, что уговариваются о том, чтобы пропустить наши полки.

— Наша бригада отрезана, — прибавил он, — но нас пропустят, и на сегодняшний день заключено перемирие.

В то же время по команде раздвинулась французская конница, и наши драгунский и казацкий полки пошли в интервалы. Начало смеркаться... Я поскакал на то место, где оставил двух казаков своих. Приехав, искал и кликал их, но, не находя, поехал весьма скоро обратно. Не прошло пяти минут, как я говорил с адъютантом генерала П., затем, несмотря на сумерки, видны были ещё войска наши; но французы протянули уже ночную цепь свою, и когда я подъехал к ней, меня окликнули. Зная, что существует перемирие, не имея я причины скрывать, кто я, да к тому же и обмануть было бы трудно, не приготовившись. Итак, я отвечал часовой: «Русский». В это время подъехал офицер, расставлявший ночные посты, и сказал мне, что не может пропустить меня без позволения генерала.

— Подведем к нему, отвечал я.

Генерал был недалеко и сидел ещё верхом, раздавая приказания окружающим его офицерам. Дабы избавиться от вопросов, я сказал ему, что я адъютант генерала П. и что, немного отставши, прошу я его дать приказание пропустить меня через аванпосты. Он тотчас приказал о том, и я

поехал, радуясь, что так скоро отделался. Но не отъехал я ещё и ста шагов, как услышал за собою голос генерала, который кликал меня; я воротился.

— Здесь близостию находится король Неаполитанский, — сказал он мне, — вы говорите по-французски, и он, верно, рад будет поговорить с вами; сделайте одолжение, подождите немного; я уже послал адъютанта сказать ему о вас.

Не имея ни малейшего опасения быть долго задержанным, а ещё более взятым в плен, я безоговорочно остался.

Генерал С. слез с лошади, вошёл в маленький деревянный дом, подле коего мы стояли, и просил меня войти вместе с ним, приказав принести мою лошадь. Вошедши, расспрашивал про Бородинское сражение, про Москву и проч.; таким образом прошло полчаса. Наконец воротился посланный адъютант и донёс, что король занят и никак не может видеть не может. Я тотчас встал, изъявляя генералу моё сожаление, что не мог исполнить его желания, и опять просил его приказать проводить меня и пропустить через передовые посты.

— Король нынче вас видеть не может, — отвечал он, — но завтра утром, верно, захочет говорить с вами, останьтесь до утра, несколько часов не сделают вам никакой разницы; теперь ночь, останьтесь, я даю вам честное слово, что завтра поутру будете вы между своими.

Я отвечал, что буду беспокоиться о моём долгом отсутствию,

и стал убедительно просить, чтобы меня отпустили тотчас. Он повторил своё, даже смеялся моей озабоченности. Нечего было делать, я остался ночевать с ним, нехотя, но успокоенный данным им словом. В эту ночь служила мне шинель моя подушкой и голый пол постелью.

Хотя и с трудом, но мог я, может быть, спастись бегством, но для этого надлежало мне пробраться мимо нескольких часовых у генеральской квартиры, потом через многолюдные биваки, где в ночь שלו, следовавшую за днём входа в Москву, многие не спали, а сидели около овец, пили и разговаривали; наконец, должно было пройти через цепь их; я рассчитал затруднения такого препятствия и находил, что не имею достаточной причины покуситься на оное. Меня бы, может быть, остановили, привели бы к тому же генералу, и тогда я навёл бы на себя справедливое подозрение. Меня бы могли списать за шпиона и поступить как с таковым. Словом сказать, хотя впоследствии раскаялся я часто, что не бежал в эту ночь, но тогда решить казалось мне и не благоразумно и не нужно. Поутру, на другой день, послал меня генерал С. с своим адъютантом в Москву к королю Неаполитанскому, уверяя, что тот же адъютант приведёт меня и назад; сверх того, спросил, имеют ли родные мои в Москве дом, и дал несколько гусар для охранения его. С ними отправился я, вехал в Серпуховскую заставу, поворотил направо — и через Немецкую слободу

приехал домой. Хотя неприятель занял столицу с вечера, но ещё в этой части города не было ни одного из солдат неприятельских — и первыми были пришедшие со мною. Я не думал ещё, что нахожусь в плену, но не могу описать горестного чувства, овладевшего мною, особенно сравнивая оное с окружающими меня французами, которые по праву войны располагали всем, как своею собственностью, пели, веселились, торжествовали; всякое слово их было для меня мучением. В продолжение дня приехали от генерала С. повозки, которые тотчас нагрузили всем, что нашли в доме, и отправили. Несколько раз просил я генеральского адъютанта отвести меня скорее к королю; он не спешил удовлетворить просьбу мою и пировал весь день с несколькими другими офицерами, к нему приехавшими. Я радовался приближению ночи. Гости или хозяева мои улеглись, и я ходил по двору, с нетерпением ожидая утра, думая, что вместе с ночью кончится пребывание моё между французами. Во многих местах города видны уже были сильные пожары. Гусары, которых дал генерал для охранения дома, не спали — бродили по всему дому, грабили и пили...

Рано поутру 4 сентября я разбудил адъютанта, и мы поехали к королю Неаполитанскому; я на своей лошади и при сабле — две вещи, которые доказывали, что меня ещё не почитали пленным. Король жил, кажется, в доме Баташова. Когда привели меня к нему; я был занят, и я более часа дождался в комнате, наполненной адъютантами

и другими офицерами, под его начальством служащими. Меня окружили, и здесь я опять принужден был слушать то хвастосные рассказы, то обидные или смешные рассуждения их на счёт русских.

— Мы думали вести войну с просвещённым народом, — говорили они, — а видим теперь, что это толпы разбойников: зажгли собственную столицу...

Я заметил им, что как бы они о поступке русских ни думали, но сообщать мне неблагоприятные свои мысли было теперь не великодушно, потому что среди них находился я один русский. Более всех прочих говорил про нас со злобой и даже с ожесточением один офицер, сидевший подле меня на окне; сколько мог заметить я, он соборно был очень хорош, часть лица и головы его была перевязана чёрным платком, правая нога выше колена также была перевязана. Я дождался, чтоб он немного успокоился, чтобы начать с ним разговор.

— В каком деле вы ранены? — спросил я его.

— Я ранен был не в сражении, а в Москве.

— Как в Москве?

Тут он опять вышел из себя, и я с трудом из рассказов его мог, наконец, понять, что в день взятия Москвы он находился при короле Неаполитанском из числа сопровождающих его и шведских с ним в Кремль, торжественно и с музыкой. При входе в ворота были они встречены ружейными выстрелами. Это была толпа вооружённых жителей; выстрелы ранили несколько человек из свиты коро-

ля. Не успели ещё французы опомниться, как эти отчаянные люди с криком «ура!» бросились на французов — тогда-то и пострадал новый мой знакомый. Один большой, сильный мужик бросился на него, ударил штыком в ногу, потом за ту же ногу стащил с лошади, лёг на него и начал кусать в лицо. Его старались стащить с офицера, но это было невозможным, на нём его и изрубили. Искусанный офицер с негодованием уверял меня, что от мужа пахло водкой... Быть может, это была и правда, но не думаю, чтобы в ту минуту сохранил он довольно хладнокровия, чтобы сделать такое наблюдение...

В злобе рассказа было что-то смешное даже для товарищей его. Французы тогда принуждены были выдвинуть два орудия и выстрелили несколько раз картечью; последние сии защитники Кремля все были побиты.

Наконец меня позвали к королю. Он был один в своём кабинете и готовился куда-то ехать. С полчася говорил он со мною весьма учтиво и ласково, расспрашивал о Бородинском деле и о занимавшем их тогда более всего вопросе — причине московского пожара и выезде жителей. Когда я попросил его приказать отпустить меня в русскую армию, он с удивлением спросил:

— Разве вы не пленный?

— Нет, — отвечал я. — Генерал С. удержал меня только потому, чтобы представить Вашему Величеству.

Король приказал позвать адъютанта генерала С., но ему сказали, что он уже уехал.

— Я верю вам, — сказал мне Мюрат, — верю, что генерал С. обещал отпустить вас, но не от меня теперь это зависит, вам непременно надобно переговорить с генералом Бертье, я прикажу вас проводить к нему.

Тут начал я уже опасаться, что не удастся мне освободиться. Адъютант генерала С., который один мог доказать, что я говорил правду, уехал. С пожаром увеличилось в городе ежeminутно смущение, беспорядок — меня никто не хотел слушать. Но пока оставалась малейшая надежда, наблюдало стараться получить свободу.

В сопровождении офицера, которому поручил меня Мюрат, сошел я с лестницы на двор; моей лошади уже не было, его кто-то воспользовался, и я пешком должен был следовать за конным адъютантом в Кремль... Нельзя представить себе картину Москвы в то время: улицы были покрыты выброшенными из домов вещами и мбелью, песни пьяных солдат, крик грабителей, дерущихся между собою; во многих местах от заброшенных вещей улицы, от дыма и огня невозможно было пройти... Пожар, грабёж и беспорядок царствовали более всего в рядах, в городе: тут мужество было разных полков таскали и разные стороны из горящих лавок платье, меха, светские припасы и проч.; казалось, что это был разорённый муравейник, откуда каждый старался вынести, что ему тогда было драгоценнее.

В Кремль вошёл я через Никольские ворота. Сенатская площадь покрыта была бумагами, из арсе-

нала выдвинуты были все орудия, гранатёры наполеоновской гвардии ходили по площади и сидели на большой пушке — они занимали внутренность арсенала. Далее, у ступеней Красного крыльца, стояли часовые верхами — два конных гранатёра в парадных мундирах. Через Красное крыльцо провели меня к золотой решётке; офицер, оставив меня на площадке, пошёл доложить обо мне генералу Бертье.

Погода была довольно хорошая, но страшный ветер, усиленный, а может быть и произведённый свирепствующим пожаром, едва позволял стоять на ногах. Внутри Кремля не было ещё пожара, но с площадки, за реку, видно было одно только пламя и ужасные тучи дыма; изредка кое-где можно было различить кровли не загоревшихся ещё строений и колокольни, а вправо, за Грановитой палатой и за Кремлёвской стеной, подымалось до небес чёрное, густое, дымное облако и слышен был треск обрушивающихся кровлей и стен.

Скоро сделался я опять предметом люботыства мимо проходящих офицеров: меня окружили, расспрашивали и усмехались, когда я говорил, что я не пленный, а пришёл требовать, чтобы отпустили меня в русскую армию. Неласковы были разговоры и со мною: они хладнокровно не могли смотреть на русского, так как были обмануты в своих ожиданиях и намерениях: желавшие покоя, не имели и квартиры; многие из них были уже по несколько раз выгнаны пожаром из занимаемых домов, другие весь-

ма серьёзно пеняли, что не могут найти ни сапожника, ни портного, чтобы исправить обувь или одежду; все как будто имели на то право и жаловались на нас.

Взглянув вниз, увидел я несколько солдат, ведущих полицейского офицера в мундирном стуртуке; zvoleli на площадку, и один штаб-офицер начал его допрашивать через переводчика: «Отчего горит Москва? Кто приказал зажечь город? Зачем увезены пожарные трубы? Зачем он сам остался в Москве?» — и другие тому подобные вопросы, на которые полицейский офицер отвечал дрожащим голосом, что он ничего не знает, а остался в городе потому, что не успел выехать. — Он ни в чём не хочет признаваться, сказал допрашивающий, — но видно, что он всё знает и остался здесь зажигать город. Отведите его и заприте вместе с другими.

Я старался, но тщетно, уверить, что квартальный офицер точно ни о каких мерах, принятых правительством, знать не может.

— Он служит в полиции и верно всё знает, — отвечали мне.

Несчастливого повели и заперли в подвале под площадкой, на которой я находился.

— Что с ним будет? — спросил я офицера, который его допрашивал.

— Он будет наказан, как заслуживает: повешен или расстрелян с прочими, которые за ту же вину с ним заперты.

Этот страшный приговор ставил и меня немного призадуматься.



В. Верещагин. В штюкы. Ура! Ура! (Атака)

В. Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах



К. Ланглуа. Битва под Москвой — 7-го сентября 1812 г.



Доу. Портрет Светлейшего Князя М.И. Голенищева-Кутузова Смоленского



Гесс. Сражение при Бородине,
26-го августа 1812 г.



В. Верещагин. Маршал Даву
в Чудово монастыре



В. Верещагин.
Сквозь пожар

В. Верещагин.
Возвращение
из Петровского дворца



Художественное издание
компании Зингер. Бивак
отступающей армии
Наполеона



Пришли звать меня к генералу Бертье. Я прошёл через две комнаты, наполненные придворными и пажами в парадных мундирах и в пудре. В третьей комнате встретил меня генерал Бертье. Немного говорил он со мною и объявил, что отпустить меня не может, что два дня я пробыл между ними и что не взято никаких предосторожностей, чтобы скрыть от меня то, чего не надлежало мне знать или видеть.

— Я пробыл два дня, — отвечал я, — не по своей охоте, а потому надеюсь на справедливость вашу и на данное генералом С. честное слово.

— Освобождение ваше не от меня зависит, — сказал мне генерал Бертье, — подите и подождите немного; быть может, захочет вас видеть император, я доложу о вас.

Я вышел опять на площадку; в Кремле был я только один русский, кроме запертых в подвале. Через несколько времени ударили внизу тревогу. Началась безония, крик, офицеры все сбежали с лестницы и побежали на место тревоги. Я остался несколько минут один — смотрел за реку на пожар; сердце сильно билось во мне, я не мог отгадать причины тревоги, не знал, чего мне ожидать должно...

Скоро от возвращающихся узнал я, что загорелся в арсенале или Сенате — не помню — но что сапёры и другие солдаты потушили пожар.

Один из адъютантов генерала Бертье подошёл ко мне:

— Следуйте за мною, — сказал он и сошёл с лестницы.

Я пошёл за ним, он остановился у дверей церкви Спаса на Бору и просил войти в неё.

— Вы недолго будете здесь дожидаться, подождите немного, за вами тотчас придут.

— Да что решил обо мне генерал Бертье, отпустят ли меня?

Не дав мне на это никакого ответа, он вышел, запер за собою тяжёлую железную дверь, задвинул толстую задвижку, наложил замок, повернул ключ — и ушёл...

Оставшись один, я пришёл в отчаяние. Теряя надежду избегнуть плена, находился я в мучительнейшем положении, однако же утешался тем, что по крайней мере не заперли меня в подвале... Пробыв несколько часов в церкви и видя, что за мною никто не приходит, пришло мне в голову, что обо мне забыли. Я не ошибся: целый день пробыл я в горестном ожидании — никто не подходил и к двери... С самого утра был я на ногах. Много ходил, ничего не ел и хотя голода не чувствовал, но нравственная и телесная слабость овладела мною — я был здесь в каком-то томительном, тяжёлом беспамятстве...

Настало утро, но не принесло никакой перемены в моём положении. Начали около церкви бегать, шуметь, и сквозь крик и шум мог я догадаться, что дело идёт опять о пожаре: вероятно, загорелись дрова, которых складено было у церкви большое количество. Часу в десятом (5 сентября) услышал я стук скоро проезжающих повозок, после узнал я, что то были наполеоновы экипажи — он уехал из Кремля в Петровский дворец.

Судя по времени, было за полночь, когда подошли к церкви несколько человек. Долго шевелили замком, стараясь отворить, наконец, сняли замок — дверь открылась. Я тогда лежал на полу. В церковь вошло человек десять гвардейских сапёров и унтер-офицер. Думая войти в пустое здание, они очень удивились, увидев меня.

— Здорово, товарищи, — сказал со смехом старый усатый унтер-офицер, — вставай, ты, я думаю, довольно належался, уступи-ка нам место. Да как ты залез сюда и что здесь делаешь?

— Мне должно спросить, — отвечал я, — что хотите со мною сделать? Вот вторые сутки, как я здесь заперт, и видно намерены меня сжечь или уморить с голоду...

Тут подошёл офицер.

— Мы нашли в церкви русского, господин капитан, что прикажете с ним делать? — спросил унтер-офицер.

Не входя в дальние толкования, капитан ответил:

— Заприте его вместе с другими под крыльцом.

Перед тем думал я о смерти, может быть, и желал её, теперь же, ходя увидел её ближе, поступил, как в басне дровосек, её призывавший. Угрожающая опасность придавала мне сил: я вскочил и побежал к офицеру.

— Куда приказываете вы вести меня? — сказал я ему с жаром. — С какими людьми хотите вы меня запереть? Я знаю, в чём вы их обвиняете, знаю, к чему и прирешдены они. По какому праву хотите и со мной то сделать? Я остановлен за

городом во время перемирия и до сих пор не почитаю себя в плену. Вы видите, — прибавил я, указывая на саблю, — что мне оставлено и оружие.

— Извините, милостивый государь, — сказал капитан очень учтиво, — я ошибся (*c'est un quiproquo*).

— Однако же, — отвечал я, — ошибка эта стоила бы мне жизни, если бы я не услышал приказания вашего или не понял бы его.

— Тогда было бы несчастье, — сказал он, — теперь пойду спросить, куда прикажут вас отвести.

Я остался в церкви с солдатами старой наполеоновской гвардии. Если бы я был в дружном расположении, то, конечно, разговор их между собою и со мною весьма бы меня занял. Нельзя придумать всех странних вопросов, которые они мне делали на счёт русских, пожара и проч. Многие не хотели верить, что я русский! Другие, забывая, что город пуст, уверяли, что я оставлен для возмущения против их народа. Толковали о полтичке, делали разные предположения об окончании войны, из которых, однако же, ни одно потом не исполнилось. Вообще, обходились они со мною ласково, и когда начали обедать, то пригласили и меня. Обед состоял из густо сваренной перловой крупы, хлеба и сыру; потом принесли боочок красного вина.

Наконец капитан возвратился в церковь. Я и французы лежали на разостланных плащах.

— Вас приказано отвести к принцу Экмюльскому, там решит-

ся судьба ваша. Вот проводник, — сказал капитан, указывая на конного гвардейского жандарма, стоявшего верхом у дверей.

Тут сдал он меня жандарму, а я опять должен был скорыми шагами следовать за жандармскою лошадыю. Проводник мой нетвёрдо ещё знал московские улицы, а я не знал, где живёт Даву. Он повёл меня из Боровицких ворот направо и долго кружил по разным улицам. Многих из них не мог я узнать: так обозначены были они пожаром, где были деревянные дома, остались только одни печные трубы, и в курящихся остатках искали добычи те, которые не успели grabить дома прежде пожара. Я не встретил ни одного русского: везде попадались навьюченные французские солдаты, от смрада и дыма с трудом можно было дышать. Наконец жандарм, который как будто с намерением хотел показать мне всю Москву, привёл меня на Девичье поле, среди коего бивакировал пехотный полк. Тут жил Даву, тут ожидала меня странная и непредвиденная сцена.

Даву занимал дом близ монастыря, адъютант его принял меня от жандарма и, доложив обо мне генералу, ввёл в большую комнату. У окошка, против двери, в которую я вошёл, сидел Даву ко мне спиною и что-то писал. Я остановился посреди комнаты и стоял несколько минут; он не оглядывался. Наконец строгим, грубым голосом начал разговор, всё ещё не смотря на меня:

— Кто вы?

— Русский офицер.

— Парламентёр?

— Нет.

— Так пленный?

— Нет! Меня остановили за городом в день взятия Москвы, на аванпостах генерала Себастиани, во время перемирия, и генерал обещал отпустить меня, но я был задержан и до сих пор не могу добиться свободы, хотя бы остановлен против всякого права войны.

Даву с нетерпением перебил речь мою.

— Что вы толкуете о перемирии? Что за перемирие, когда в городе по нас стреляли? Вы взяты в плен по всей справедливости и должны в плену и оставаться.

— Я не могу отвечать за поступки нескольких жителей; если вы меня не отпустите, то поступите несправедливо.

— Молчите! — закричал он и, пристально взглянув на меня, сказал: — Ба! Да я вас знаю!

— Не думаю, генерал, я впервые имею честь вас видеть.

— Не запырайтесь! Вам меня обманут не удастся, — вы уже были раз взяты в плен под Смоленском и бежали. Но вы увидите, как мы поступаем с людьми, которые по несколько раз отдаются в плен и уходят! Во второй раз не уйдёте! — и оборотясь к адъютанту, прибавил весьма ладнокрывно: Прикажете призвать унтер-офицера с четырёх рядовых, чтоб расстрелял этого офицера.

Адъютант вышел.

— Я уверяю вас честно, генерал, что в первый раз нелегко в армии вашей, и вижу, что у одного раза слишком много. Надобно думать,

что я имею с кем-нибудь другим несчастье для меня сходство.

— Не трудитесь уверять меня, труд напрасный! Не переуверите! (Все речи генерала Даву приправлены были самыми выразительными словами солдатского словаря.)

Он встал, повёл меня в другую комнату и начал делать множество вопросов, совершенно лишних, потому что знал на них ответы лучше меня; показал мне подробную рисованную карту окрестностей Москвы, вёрст на 30 в окружности. Имена написаны были по-французски, и карта, хотя наскоро начерченная, была хороша. Думая о том, чем должен кончиться для меня этот разговор, я не принимал в нём большого участия. Генерал Даву, заметя мою рассеянность, кончил вопросы свои следующей речью:

— Теперь люди, я думаю, уже готовы, подите и вы увидите, какой уметом со мной успех такие хитрости, какие употреблены вами.

Я опять всеми силами старался уверить, что я не был взят в плен под Смоленском. Но уверения не доказательства, а доказать мне было невозможно. Досаду на своё лицо, согласился бы я променять его на самое уродливое, лишь бы не было оно сходно с тем, которое имел попавшийся в плен под Смоленском русский офицер, — и видя неудачу своих намерений, готовился я уже идти дать расстрелять себя, как вдруг пришла в голову генерала счастливая мысль, и он сказал:

— Постойте немного, уверения ваши нимало меня не убеждают.

Я твёрдо знаю, что взяты были в плен под Смоленском вы, а никто другой, но хочу перед тем, как вас расстреляют, изобразить вас ещё во лжи. Я веваю позвать того адъютанта, который находился при мне в Смоленске, он, верно, также узнает вас.

Генерал Даву, казалось, боялся, чтобы я не приписал человеколюбию пришедшую ему мысль.

Явился адъютант. В руках, или лучше сказать в глазах его, была теперь моя участь. Жизнь моя зависела от расположения его по отношению своему генералу, который тотчас сказал ему:

— Посмотрите на этого человека, не тот ли это, который под Смоленском был взят и ночью бежал от нас?

Мне хотелось сделать какую-нибудь гримасу, но я боялся тем ещё более придать лицу моему сходства. Адъютант пристально вглядывался в меня со всех сторон.

— Нет, — сказал он, наконец, генералу, — не думаю, чтобы это был тот же, тот был немного выше и старше.

Гора свалилась с плеч моих.

— Вы обязаны адъютанту моему, — сказал Даву, — без него, право, не миновали бы вы пули. Теперь подите, вас отведут к товарищам.

Я вышел, увидев, что протестовать против плена было бы уже совсем неуместно.

Унтер-офицер, коему поручено было отвести меня в депо пленных, пользуясь обачема, принятым в таких случаях; взял у меня саблю и не-

сколько бывших со мною черошцев. Депо было на Девичьем поле, в недостроенном деревянном доме, окружённом часовыми. Я с нетерпением желал видеть пленных товарищей, надеясь найти в них некоторое утешение. Но не вполне исполнилась моя надежда, и были минуты, когда находясь между ними, я жалею о том времени, когда был заперт один в церкви Спаса на Бору...

В небольшой комнате того деревянного дома собрали французы человек тридцать разного звания людей; в числе их не было ни одного военного, большая часть были служащие в разных присутственных местах столицы. Предполагая увидеть русских узнетённых положением своим, чувствующих оно вполне, как удивился я, когда, по приближении к дому, беспорядочный шум и даже песни уведомили меня о месте пребывания соотечественников, с которыми впрёд надлежало мне делить свою участь. Новые горячие мысли присоединились к тем, коими была наполнена душа моя, и несмотря на ту непереносимую надобность, которая в несчастьи заставляет всякого человека искать кого-нибудь, кому бы поверить свои чувства, не нашёл я ни одного из тех пленных, который бы внушил мне малейшую доверенность; некоторые, сумев сохранить свою денгу и покупая водку у караульных солдат, часто употребляли оную без умеренности...

В сем обществе пробыл я десять дней, один на другой совершенно схожих. Поутру раздавали нам хлеб, каждому около фунта; несколько раз случалось, однако же, что про-

ходил день без раздачи. Раза два в это время давали нам и говядину, за которой должно было ходить самим довольно далеко в сопровождении конвойных солдат. Не имея никакой посуды для варения пищи, мы текли говядину на бивачных огнях нашей стражи и ели без соли, иногда нам удавалось промывать у солдат сырое мясо на варёное. Когда бивакирущие на Девичьем поле солдаты доставали для себя скот, то я и несколько человек других русских ходили к ним, чтобы его ухватить, сдирать кожу, словом, исправлять мясное ремесло... За труд этот отдавали нам французы внутренности и другие части скота, которые им не годились. В комнате, где мы жили, не только не было ни стула, ни стола, но нам не дали даже и соломки для постели. На место оной наносили мы, каждый для себя, из сада, принадлежащего дому, упавший тогда лист с деревьев, а как в комнате было тесно, то поневоле служили мы один другому изголовьем... Часто целые ночи проводил я у окна, смотрел на огненные зарева от отдалённых пожаров — и мысленно следовал за армией, о которой с первого дня моего плена я ничего не слышал...

На одиннадцатый или двенадцатый день нашего заточения вошёл к нам французский пехотный офицер и объявил, что ему поручено на другой день вести нас в Смоленск и чтобы мы рано поутру были готовы к походу. Предупреждение почти лишнее, так как нам готовиться к походу было нечего: платье, которое было на нас, было единственным нашим имуществом,

но выступлению из Москвы почти все мы были рады. Всякая перемена в положении нашем казалась улучшением...

В тот же день к вечеру пришёл отъезд офицера для составления нам списка по чинам: все штатские чиновники внесены были в список соответствующими военными чинами, а потому и сделался я прапорщик, младшим из всего общества.

На другой день, 16 или 17 сентября, на рассвете пришёл тот же офицер. Провожая нас, сделали переключку и раздали хлеба каждому фунта по три, сказав прежде в предосторожность, что так как неизвестно, где и когда раздадут нам опять хлеб, то чтобы мы его берегли.

Не выходя ещё из города, присоединился к нам пленный полковник Ф.М., счастливым случаем попавшийся в руки французского офицера, который оставил ему не только все вещи, но даже и экипаж. Полковник Ф.М. ехал в бричке, запряжённой парой. Здесь почитают я обязанностью извещать благодарностью мою этому офицеру, уделавшему мне иногда от имеющихся у него съестных припасов и иногда сажавшего меня с собою в бричку, без чего, вероятно, претерпел бы я участь многих товарищей... Постоянным спутником ему в бричке был князь Визакур, который вёл себя во всё время несчастливого похода нашего столь странно, что в продолжение всего моего повествования я намерен хранить о нём глубочайшее молчание...

Улицы от Девичьего поля до заставы покрыты были обгорелыми

брёвнами, всякого рода обломками, многие места ещё курились, кое-где видны были и мёртвые тела — всё вместе представляло картину ужаснейшего разорения...

Тотчас по выходе из Москвы, которую покинул я с чувством прискорбия и сожаления, хотя некоторым образом и рад был от неё удалиться, — за заставой дожидаясь нас колонна наших же пленных солдат с сильным коновоем. Утешительно и вместе с тем больно было встретиться с пленными нашими воинами... Вся колонна состояла из тысячи с лишком человек, но тут, как и между офицерами, не все были военными и многие понапрасну делили с нами горькую участь... В солдатской колонне много было купцов и крестьян; французы, ссылаясь на их боробы, уверяли меня, что это казаки... Тут были и дворовые люди и даже лакеи в лифреях, которые, по мнению провожающих нас французов, были также передоетыми солдатами. Один из коновойных солдат требовал мои сапоги, показывая мне свои разодранные. Я, разумеется, отдал их ему добровольно, избегав тем грубости и насилия. Идущи босыми ногами по крепко замерзшей грязи, я скоро почувствовал сильную боль в ногах, которая постоянно увеличивалась вместе с опухолью. Несколько вёрст за Московскою встретились нам два мужика. Один из них нёс за спиною запасные лапти и уступил их мне за кусок хлеба. Счастливым приобретением сим, догнав я голову колонны и шёл некоторое время близ французского офицера. Вдруг в нескольких шагах позади нас раздались ружейный

выстрел, на который не обратил я сначала внимания, думая, что причиною тому неосторожность какою-нибудь коновойного солдата. Вслед за выстрелом подошёл к офицеру унтер-офицер и донёс, что пристрелил одного из пленных, и возвратился на своё место. Я не верил ушам своим и просил офицера объяснить мне слышанное мною.

— Я имею письменное повеление, — сказал он мне с вежливостью, — пристреливать пленных, которые от усталости или по другой причине отстанут от хвоста колонны более пятидесяти шагов... На это дано коновойным приказание однажды навсегда. Касательно же офицеров, — прибавил он, — так как число их не слишком значительно, то велено мне их, пристреливши, хоронить.

Сии последние слова были, кажется, сказаны им из какой-то странной учтивости и, некоторым образом, мне лично в утешение. Я отвечал ему, что, судя о товарищах своих по себе, не думаю я, чтобы кто-нибудь из нас стал настаивать на исполнении той части его обязанности, которая относилась до похорон, и объявил ему от имени всех, что мы избавляем его от лишнего сего труда... Признаюсь, что открытые, им сделанное мне, не совсем мне нравилось, ибо боль в ногах напоминала мне о возможности быть расстрелянным...

— Что могло быть причиною жестокого повеления, вам исполняемого? — спросил я офицера. — Не лучше ли не брать в плен, чем, взявши, расстреливать? И как

хотите вы требовать от людей голодных, чтобы они шли, не оставая один от другого?

Всё это правда, — отвечал он, — но начальство приняло сию меру для избежания того, чтобы отставшие пленные, отдохнувши, не стали тревожить нас. Впрочем, вы сами тому причиною: больных оставлять негде, гостипалатей нет, вы сожгли и города и деревни.

После похода, продолжавшегося несколько часов, был сделан привал, непохожий на привалы, делаемые войсками: всёёлых разговоров не было слышно, ни варить, ни есть нам было нечего, всякий берег хлеб свой для последней минуты, а огня развести также не хотел никто: для этого надлежало бы идти за дровами, силы были для нас ещё дороже пищи, жизнь зависела от ног, и всякий шаг мог для будущего времени пригодиться. В молчании лежали мы на голой, мёрзлой земле, и когда встали, чтобы идти далее, то на месте привала остались из солдат двое мёртвых, которых, однако же, для верности всё-таки велено было пристрелить...

Хотя мы шли целый день, но переход сделали небольшой, ибо тащились весьма тихо, и где застала нас ночь, там и остановились, своротив с дороги на поле. В продолжение дня пристрелено было 6 или 7 человек, в числе которых один из штатских чиновников. Собравши пленных в толпу или кучу, развели французы для себя огни и расставили вокруг нас довольно число часовых, а мы должны были согреться, ложась один к другому как можно ближе. Я боялся спать, чтобы во время сна не

отморозить ноги, часто вставал и ходил, стараясь разогреться.*

Рано утром пошли мы опять в поход. Не могу описывать странствования нашего по дням: тогда не вел я журнала и помню только главные из происшествий. Так как ночью удавалось нам хотя бы немного отдохнуть, то утром шли мы довольно хорошо и обычно только по прошествии нескольких часов ходьбы начинали раздаваться ужасные выстрелы, лишившие нас товарищей... Иногда слышали мы их до пятнадцати в день и более. Конвоей переменялся почти через день, но образ обхождения с нами был всегда одинаков. Сменяющийся офицер давал нужные на то наставления своему преемнику, и мы не примечали даже перемены наших спутников. День ото дня становился поход от холода и голода тяжелее и число умирающих и пристреливаемых — значительнее. Несчастный пленный, чувствуя, что силы его покидают, отстаивал понемногу, прощался с товарищами, все проходил мимо него, конвойный солдат один оставался при нём, пристреливал его и дозвонял потом колонну, заряжая своё ружьё. Мне случилось раз видеть старого солдата, упавшего на дороге от усталости.

Француз, оставшийся, чтобы пристрелить его, три раза прикладывал дуло своего ружья к головному русскому, три раза спускал курок — ружьё осекалось! Наконец

ушёл он и прислал другого, у которого ружьё было исправнее!

Иногда пленные, предчувствуя свою участь, видя вдали на дороге церковь, старались дотопиться до неё, становились по несколько рядом у дверей на паперти, молились — и их застреливали...

Всакй день число пленных уменьшалось... Когда колонна была ещё голоднее, то впечатление при виде умирающего товарища не так сильно на меня действовало, но когда осталась нас столько, что мог каждый знать друг друга в лицо, то гораздо более трогала меня потеря товарищей. И моя очередь, казалось, приближалась ежеминутно. Не надо думать, однако же, что опасение смерти было мучительно в моем положении: к счастью, привязанность к жизни ослабевает вместе с физическими силами... Большой, страдавший долго от тяжкой болезни, редко видит приближение смерти с тем чувством, с которым смотрит на неё в состоянии здоровья. Я не жалел покинуть жизнь, мне было только больно думать, что я умру и не буду иметь не только ни родного, ни друга, который бы принял последний мой вздох, но что даже и те, которые будут свидетелями моей смерти, забудут меня, как скоро отойдут довольно далеко, чтобы не видеть моего тела...

Скоро хлеб наш весь вышел. Те, которые сохранили его ещё немного, прятали его от других. На походе искали мы пища в пепле сгоревших деревень и в давно опустошённых уже огородах. Всё было хорошо, что могло хотя бы на время утолить

голод. Никогда не забуду, с каким удовольствием съел я найденную мною в куче сора луковицу. Обнаждённые нашли мы несколько небурной конопля, которую, собравши, сварили и употребили в пищу. Мясо мёртвых, давно убитых лошадей сделалось, наконец, единственною нашею пищею. Почернееше от времени и морозов, она было вредно для здоровья, особенно же потому, что ели мы его без соли и полусырое. Бледные, в лоскутках, без обуви, представляли пленные картину ужасную и отвратительную!..

Таким образом дошли мы до поля Бородинского сражения. Мёртвые тела людей и убитые лошади были ещё не прибраны... От большой дороги влево всё пространство, как далеко могло простираться зрение, покрыто было мёртвыми телами людей и лошадей... Большая часть трупов была без одежды. Терпящие нужду в одной французские солдаты искали её на мёртвом товарище или неприятеле. Я давно уже страдал ужасною болью в ногах: от Москвы шёл я без сапог но крепко замёрзшей грязи. От колен и до подошвы были ноги мои в ранах, и я прибегнул к следующему способу: примерие несколько сапог, снятых самим мною и не найдя ни одного по своей ноге, я должен был довольствоваться**.....

...Уже почти полтора года, как я находился в плену. В первых числах февраля 1814 года была я вме-

сте с другими пленными в Орлеане. Два дня пробыли мы там на месте, на третий повели нас далее, вдоль прекрасного берега Луары. 9-го числа поутру выступили мы из Орлеана, и перед выходом нашим слышался я от жителей, что в скором времени ожидают в окрестностях города неприятельских, т. е. наших, войск.

На переходе в городок Божанси в 6 французских милях (25 вёрст) от Орлеана и почти перед вступлением в оный узнали мы, что казаки появились у Орлеана. Тотчас же предложил я товарищу моему С. воротиться в Орлеан и стараясь пробраться в нашу армию. Тогда не могли мы ещё отгадать, долго ли нам быть в плену и какой конец будут иметь действия войск наших во Франции. С. охотно принял предложение моё; время было дорого. Пришли в Божанси, открыли намерение наше некоторым из товарищей и просили их скрыть побег наш в продолжение нескольких дней. Простились и пошли обратно в Орлеан, не дав себе времени и отдохнуть. Дни были короткие, и когдапустились мы в путь, то уже смерклось. С. говорил по-французски худо, но говорить любил, я взял его с тем, чтобы во всю дорогу он не говорил ни с кем ни слова. У меня в кармане было 300 франков, на которые я надеялся нанять проводника, который бы провёл нас до Орлеана просёлочными дорогами. Большая же дорога была уже нам известна: шла всё по крутому берегу реки среди виноградников. По ней вышли мы из Божанси и вскоре повстречались с

* Все эти ужасы и страдания выпали на долю В. А. Перовского в то время, когда ему было всего восемнадцать лет

** На этом месте рукопись обрывается. Дальнейший рассказ описывает плен уже во Франции

двумя конными жандармами. Однако же после некоторых вопросов, на которые отвечал я смело, пропустили они нас. После этой встречи стал я опасаться вторичной и почувствовал ещё более необходимости иметь проводника. К счастью, идя очень скоро, обогнали мы одного молодого крестьянина, с которым вступил я в разговор и, приметя, что он почитает нас за беглых конкриптов, вывел я его из заблуждения, открылся и дал 150 франков с тем, чтобы он показал нам дорогу просёлками до Орлеана, и обещал ему ещё столько же, если доведёт нас безопасно до русских. Уговорились и пошли: крестьянин впереди, С., я за ним. Мы не шли — бежали. До рассвета должно было нам достичь русских или быть пойманными.

Окрестности Орлеана весьма населены. Деревни одна подле другой, и везде национальная гвардия содержала караулы при въездах и на улицах. Несколько раз откликали нас, везде отвечал проводник — и нас пропускали. В одной из деревень караульный унтер-офицер вышел с фонарём на улицу, пристально нас осмотрел, однако же не задержал. Погода была дурная, выпало довольно много снега, и идти было очень трудно; мы оба устали, но нечего было делать: отдохнуть негде, да и нельзя было. С. так устал, что почти спал на ходу и часто падал и наконец совершенно отказался идти далее. До Орлеана оставалось ещё верст восемь. В первой деревне, которая попала на нам на дороге, мы решились остановиться хотя бы на час и подкре-

пить силы. В намерении сем стучались мы у нескольких домов: в иных нам не отвечали, хозяева других из окошка отказывались пустить нас, иные даже угрожали бросать в нас камни, если тотчас не отойдём. Нечего было делать! Подосадовали и пошли далее. Жители деревень близ Орлеана боялись тогда своих мародёров и наших казаков, и страх этот был причиною их негостеприимства. Признаюсь, что и мне нужен был отдых, но имея в виду скорое освобождение, нетрудно было решиться на всё!.. Долго тащились мы ещё в молчании, прерываемом только частыми вопросами проводнику: далеко ли ещё до Орлеана?..

Наконец, начало уже рассветать, и мы вошли на возвышение, покрытое виноградником. Зесь показал нам проводник в весьма близком расстоянии Орлеан — так близко, что мы могли различить догорающие фонари на прекрасном мосту через Луару в самом городе. В стороне, подале, мелькали в поле огни. Показывая на них, наш проводник сказал: «Там русские. Я более вам не нужен, идите спокойно по этой тропинке, скоро, конечно, вы встретите ваших. Прощайте, желаю вам всякого счастья!»

Я дал ему остальные 150 франков, и мы расстались. Надобно было в плену вытерпеть то, что я вытерпел, чтобы понять чувство надежды — быть через несколько минут среди соотечественников и на свободе!..

С. и я торжествовали, весело обнялись, поздравили друг друга, забыли усталость и пошли бодрее.

Но недолго продолжалась радость наша! Шагов сто от того места, где мы предавались такой приятной надежде, по той же тропинке, которая должна была привести нас на биваки русских, наткнулись мы на французский пикет!.. Пять человек стояли в нескольких шагах от нас, опершись на ружья. Они нас видели.

— Что делать? — сказал С.

— Не останавливайся, — отвечал я, — пойдем вперёд, более делать нечего; может быть, и удастся ещё пройти.

Подходя к пикету, я говорил сколько мог хладнокровно, как будто продолжая с С. разговор и не примечая стоящих на дороге солдат. Но когда я поравнялся с ними, то один остановил меня за платье.

— Куда идёте?

— В Орлеан.

— У Орлеана русские.

— Так что же, я иду к себе, в Орлеан мой дом.

— Покажите паспорт или пропускной билет.

— Я всегда ходил без паспорта и без билета, надеюсь, что и теперь пройду, — и пошёл далее.

— Останови их, — кричал унтер-офицер.

Я сам остановился.

— Отведите их в деревню к офицеру.

Нас повели.

— Теперь, брат, нет надежды, — сказала я С. — Русских нам на этот раз не видать, надо лишь стараться не быть признанными за беглых пленных, и на это есть только один способ: пленные про-

ведены по этой дороге из Орлеана третьего дня, скажем, что мы отстали, что ты оставался больным в деревне (я назову такую, которая уже занята русскими, чтобы не пошли справляться) и что теперь догоняем пленных своих товарищей. Теперь можем мы говорить по-русски.

Нас привели в караульно к спящему офицеру, и, к счастью, приведший нас солдат не остался при допросе. Караульный офицер сперва думал, что мы только что взяты в плен на аванпостах, и не хотел верить, когда я сказал ему, что я уже более года в плену, взят под Московку, а С. — под Лейпцигом. Я рассказал ему выдуманную нами басню, которой он, однако же, не поверил, да и поверить, правда, было трудно... В углу той же комнаты было несколько человек, бежавших и пойманных в ту же ночь англичан и испанцев, а потому и был я очень рад, когда офицер дал приказание вести нас по дороге в Божанси и в первом селении предстать мэру.

Отдаляясь от места, где мы были пойманы, мы сознавали, что легче дать правдоподобный оборот моему рассказу. К тому же не только С., но и я сделались в самом деле похожи на больных. Я не помню, чтоб я когда-либо изнурился, как в несчастную эту ночь. Когда мы проходили ту деревню, в которой ночью выходил унтер-офицер с фонарём нас осматривать, то тот же унтер-офицер находился в некотором сомнении: ночью видел он троих, а теперь нас было только двое...

Наконец, привели нас в селение, ко-
его имени теперь не упомяну, и прямо к
мэру. На дворе стояла цепь скованных
арестантов, готовых к отправлению,
и С. тут уверял меня, что видит два
сбережённых для нас места, которых,
однако же, мы не заняли. Коль скоро
я увидел мэра, то начал жаловаться
на худое с нами обращение, показал на
большого С. и требовал настоятельно
подводы, чтобы догнать скорее плен-
ных. Мэр был пожилой человек весь-
ма привлекательной наружности, и я
отдаю ему полную признательность: я
уверен, что он принял нас за беглых
пленных, но не хотел вредить нам и,
притворяясь, что нам верит, велел
дать нам подводу и накормить нас.

Открытая крестьянская теле-
га в холод и снег показалась нам по-
сле прошлой ночи роскошною повозкой.
Мы спали до первого места, где над-
лежало переменить подводу, которую
дали беспрепятственно по открытому
листу доброго мэра, и в тот же день
поздно вечером догнали мы своих то-
варищей в Туре, усталые, голодные и
без денег. О побеге нашем не было ещё
известно — и тем кончилось неудачное
моё и С. покушение...»***

*** Эта первая неудача побега из плена не
обескуражила, однако, В.А. Перовского, и он вскоре
бежал, как известно, во второй раз и добрался-таки до
русского отряда, стоявшего в Орлеане

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Е.Г. Вертоусова, Г.П. Матвиенская, А.Г. Про-
кофьева. Оренбургский губернатор Василий Алек-
сеевич Перовский, Оренбургское книжное изда-
тельство, 1999 г., с.30



Сергей Михайлович Скибин
родился в 1954 г. в станице
Новокамшиастовской
Краснодарского края. Окончил
филологический факультет
Кубанского государственного
университета, аспирантуру
и докторантуру
в Московском государственном
педагогическом университете.
Преподавал в сельской школе,
в Таганрогском пединституте,
работал в Лаосе.
В Оренбурге с 1982 г.
Доктор филологических
наук, профессор,
заведующий кафедрой
русской классической
литературы в Оренбургском
государственном
педагогическом университете.

Сергей СКИБИН

П.П. ЖАКМОН: «МАТЕРИ МОЕЙ ПРЕДСТОЯЛА ТЯЖЁЛАЯ ЗАДАЧА...»

Из воспоминаний оренбургского
старожила

Полтора века отделяют нас от
описанных в этой публикации со-
бытий. Однако это как раз тот
случай, когда по прошествии вре-
мени только усиливается интерес
к минувшему. Хочется понять, с
чего же всё начиналось, что собой
представляли замечательные люди
прошлого, наконец, познаться в
атмосферу давно минувшей эпо-
хи. Воспоминания П.П. Жакмона
были опубликованы более ста лет
назад в столичном журнале «Исторический вестник» и в настоящее
время практически недоступны
современному читателю, а жаль.
Память оренбургского старожила
бережно сохранила и то, что со-
бой представлял Оренбург сере-
дины XIX века, и как начиналось
образование оренбурженков, и по-
луанекдотичные случаи, произо-
шедшие с известными тогдашними
жителями губернского города. Но
особой теплотой согрето его пове-
ствование о матери П.П. Жакмон,
которая в конце 1849 года была

назначена начальницей Оренбургского девичьего института. Надо отметить, что в декабре 1832 года при Неплюевском военном училище было открыто отделение «для воспитания девиц», преобразованное в 1848 году в Оренбургский женский институт им. Императора Николая I, который находился в ведомстве императрицы Марии. П. П. Жакмон оказалась необыкновенно деятельным организатором и талантливым педагогом. Она не щадила ни сил, ни здоровья во благо реформирования своего учебного заведения. Большую помощь на этом поприще ей оказала вдовствующая императрица Александра Фёдоровна, встреча с которой воспроизводится в записках П. П. Жакмона. Именно П. П. Жакмон стоит у истоков женского образования Оренбургского края. Она много сделала для того, чтобы Николаевский женский институт вплоть до самой революции оставался одним из лучших учебных заведений Оренбуржья.

В 1845 году скончался отец мой, титулярный советник, Пётр Львович Жакмон, бывший преподаватель французского языка в 3-й С.-Петербургской гимназии и в школе гвардейских подпрапорщиков (переменованной впоследствии в Николаевское кавалерийское училище). Мать моя осталась в Петербурге почти без средств к жизни и стала хлопотать о назначении её на службу в один из институтов ведомства императрицы Марии.

Хлопоты моей матери увенчались успехом, и в 1849 году она была на-

значена начальницей Оренбургского девичьего училища II разряда. В это время я был учеником IV класса 3-й С.-Петербургской гимназии. Осенью я заболел коклюшем, который вскоре перешёл и к сестре моей. Больная моя и сестры задержала нас в Петербурге более чем на месяц, и только в декабре того же 1849 года мать, забравши нас с собою, могла предпринять путешествие в даёскую восточную окраину — в Оренбург.

В те времена не было ещё в России никаких железных дорог, кроме Царскосельской, и потому пришлось ехать из Петербурга на почтовых. Переезд из Петербурга в Оренбург мы совершили в шестнадцать дней...

В это время Оренбург уже был административным центром обширного Оренбургского края; это был небольшой город, окружённый высоким земляным валом со рвом и четырьмя железными воротами, которые на ночь запирались на замок. У каждого ворот стоял военный караул, а у главных ворот — Сакмарских, был офицерский пост, потому что здесь же, в каменном здании помещалось до 300 человек арестантов военно-исправительной роты. Так как ключи от ворот были у караульного начальника, то в ночное время приезжающие впускались только с его разрешения. После пробития вечерней зари часовые на постах перекликались протяжным «слушай», и их в шутку называли царскими петухами. Число жителей не превышало в Оренбурге, вместе с войсками, 12 тысяч человек. Военным губернатором был генерал от инфантерии Владимир Анагольевич Обручев. Это был служака в полном

смысле слова и вместе с тем предобрый человек, который любил распекал подчинённых, но никому не делал вреда по службе. Единственным его недостатком была скудность, доходившая почти до скарденности, по отношению к казённому интересу. Во время управления губернией Обручев сберёг до миллиона казённых денег и отослал их в Петербург. За эту экономию он не получил никакой награды, а на эти деньги — не припомню, для какого полка — были выстроены в Петербурге новые казармы, тогда как казённые учреждения, существовавшие в то время в Оренбурге, имели очень плохие помещения и были очень стеснены в денежных средствах. Но злобленными детьми В. А. Обручева были возникшие по его инициативе институт и Неплюевский кадетский корпус. Рассказывали, что однажды В. А. Обручев жестоко распек инженерного офицера за то, что в оборотной казарме линейного батальона дымилась печь. Когда Обручев накричал вдовосталь, то полковник, заведывавший инженерною частью, доложил ему, что печь эту строил другой офицер, находившийся в командировке в степи. Тогда Обручев, обратившись к офицеру, сказал ему в утешение: «Ну, всё равно, мой любезнейший, это пригодится в другой раз». Он полагал, что все инженеры большие любители казённой копейки, хотя и сам служил в молодости в инженерных. По приезду в Оренбург, мать моя прямо с дороги вступила в отправление своих обязанностей. Но, Боже мой, что представлял собою институт!

Ученицы, числом до 40, были

почти все грубые, невоспитанные казачки, говорившие на «о» и употреблявшие часто в разговоре неприличные слова. Притом все они были немые, грязные, и у многих из них на белые и в волосах водились множество насекомых. У некоторых тело было покрыто чешоткою и даже золочастейными нарывами. А потому прежде всего потребовался чисто физический труд привести воспитаниц в благообразный вид. Нужно было намазывать им головы мазью, истребляющей насекомых, заставляя горничных расчесывать им спутавшиеся волосы, приучить их к употреблению мыла и зубных щёток, о которых они не имели ни малейшего понятия в своих станицах и форпостах. Труднее было отучить их от употребления непристойных слов и выражений. Религиозно-нравственное их воспитание потребовало особого внимания. Многие из них не только не знали ни одной молитвы, но не умели даже сложить пальцев для крестного знамения. Другие же, воспитанные сектантками, в особенности принадлежачие к раскольничьей секте без поповщины, читали молитвы наыворот, искажая не только слова, но и самый смысл молитв.

Хозяйство института было организовано на началах мелочной экономии сбережения дров и мыла тем же В. А. Обручевым. Когда мать моя только что вступила в отправление своей обязанности начальницы, в институте были завезены следующие порядки: обед и ужин готовился для девиц на кухне Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса, потом подогревался на плите инсти-

тутской кухни; бельё институток стиралось в прачечной кадетского корпуса и потом мокрое привозилось в прачечную института, где синилось, крамсаилось и гладилось.

Домовая церковь института была очень бедна. Икон было мало, облачение только одно, которое священник надевал по воскресным дням и в двенадцатые праздники. Церковь была так устроена, что та часть её, где находился алтарь, закрывалась складными дверями, и когда затворялись двери, церковь обращалась в рукодельный и рисовальный класс. Платья, передники, пелерины и бельё для институток были шиты из самого грубого и плохого материала, приобретённого у местных торговцев по дешёвым ценам. Всё письменовство и вся отчётность как по учебному делу, так равно и по хозяйству, велась в канцелярии кадетского корпуса. Так же неудовлетворительна была постановка учебного дела. В видах экономии только один или два преподавателя из числа учителей кадетского корпуса были приглашены для преподавания в институте, остальные, в особенности учителя рисования, чистописания и пения, были лица, не имевшие классного чина и занимавшие учительские места в школе оренбургских военных кантонистов, народ запойный и малограмотный, пропускавший в учебном году много уроков. В.А. Обручев любил нанимать учителей, числом поболее, ценою подешевле.

Матери моей предстояла тяжёлая задача изменить весь строй учебной и экономической жизни института; понятно, она не могла вдруг совершить этих реформ. Немало трудов

потребовало устройство и украшение домово́й церкви института. Для благолепия храма нужно было создать из девичьих строгий церковный хор, и мать моя обратилась в императорскую капеллу с просьбою выслать ей опытного регента, которому исходатайствовала через принца Ольденбургского приличное жалованье.

С В.А. Обручевым бывали подчас и курьёзы. Так однажды, приехав в институт на первый урок, он тихонько подкрался к классным дверям и, приложив ухо к скважине, стал слушать объяснение учителя истории. Классовский, преподававший историю, читал лекцию о Семирамиде и описывал в слишком ярких красках сады Семирамиды и волшебные празднества этой царицы. В.А. Обручев слушал, слушал и наконец вытерпел и, влетев бомбой в класс, почти вскрикнул:

— Хорошо же вы преподаёте!

После этого он увёл учителя в рекреационный зал, разнёс его в пух и прах и, дав ему надлежащую инструкцию, как и что он должен говорить о Семирамиде, приказал ему прочесть на другой день лекцию о том же предмете в том же классе в его присутствии. Когда всё было исполнено по его желанию, он подал при всех руку Классовскому и поблагодарил его за преподавание.

В те времена Оренбург был ссыльным городом, и в нём насчитывалось несколько сотен ссыльных поляков знатнейших польских фамилий. Потоцкие, Чарторижские, Станкевичи, Ромишевские, Ростковские, Обинские, Сираковские и другие — все они были разжалованы в царствование императора Николая

Павловича и сосланы рядовыми в оренбургские линейные батальоны и несли строевую службу наравне с прочими нижними чинами, только ночевали не в казармах, а на своих квартирах, что, впрочем, позволялось им частным образом с разрешения батальонных и ротных командиров или тайным образом за плату с позволения фельдфебелей, наживавших от них большие деньги.

За ссыльными поляками был учреждён секретный надзор. Однажды донесли В.А. Обручеву, что в местном костёле по вечерам виден огонь, и что там собираются на тайные сходки ссыльные поляки. Получив это донесение, В.А. Обручев в соирвождении плач-майора Халецкого и полицеймейстера, раненого воина, полковника Демостико, нагрянул внезапно вечером к костёлу и, заметив в нём свет, тотчас потребовал ксендза Зеленка и приказал ему отворить костёл. Когда вошли во внутренность его, то в нём никого не оказалось, и В.А. Обручеву пришлось извиняться перед ксендзом Зеленком за свою излишнюю поспешность: не трудно было убедиться в том, что свет в церкви происходил от лучей заходящего солнца, ударявшего прямо в разноцветные стекла окон алтаря.

Но недолго В.А. Обручев управлял Оренбургским краем. Генерал-адъютант В.А. Перовский тяжело заболел в Петербурге, и когда император Николай Павлович, навестив больного, спросил его, что он может для него сделать, то Василий Алексеевич отвечал, что он желал бы, чтобы его хоронили оренбургские казаки.

В.А. Перовский выздоровел. Вскоре после того, в 1852 году, В.А. Обручев был переведён в генерал-аудиторiat, а генерал-адъютант В.А. Перовский был назначен оренбургским и самарским генерал-губернатором. При нём сформирован огромный штат чиновников особых поручений, адъютантов и состоящих в его распоряжении гвардейских офицеров. С этого момента в Оренбурге образуется множество новых военных и гражданских учреждений и условия жизни существенно изменяются. Оренбург получил тогда наименование маленького уголка Петербурга.

Во второй свой приезд в Оренбург В.А. Перовский и большой не изменил своей любви к роскоши и светской жизни и всё ещё оставался большим русским барином. Его шутя сравнивали с французским королём Людовиком XIV, и у него на закате дней была своя Madame de Maintenon в лице супруги одного из приближённых.

Имея в своём распоряжении бесконтрольную сумму башкирского капитала, состоявшего из нескольких миллионов рублей, и полмиллиона рублей, отпускаемых ежегодно на угощение киргизов и на приём хивинских и бухарских посланников, В.А. Перовский сам для себя не пользовался ни одною копейкою этих денег, но употреблял их на устройство балов, пиришеств и празднеств для поддержания престижа своей власти. Так, например, за месяц или за два перед этими балами всем молодым дамам свиты В.А. Перовского выссылались богатые дорогие материи и целые готовые платья, при-

возимые из Парижа специально для этой цели командированным туда фельдшерем. На обедах и ужинах подавались раритеты вроде малины и клубники в зимние месяцы, а на каждом дамском приборе лежал прелестный букет редких цветов, выписываемых из Петербурга. Ежедневно для мужского персонала свиты В.А. Перовского повар-француз готовил обед из 4 блюд на 30 персон с винами и шампанским лучшей марки, и все чиновники особых поручений, адъютанты и состоявшие в распоряжении В.А. Перовского гвардейские офицеры пользовались круглый год этими обедами бесплатно. Сам В.А. Перовский изредка появлялся в этой столовой на несколько минут, чтобы спросить своих гостей, довольны ли они его поваром и винами, которые им подаются на стол. Пошутив милостиво с кем-нибудь из своих знатных гостей (в числе которых был ротмистр лейб-гвардии гусарского полка, князь Ибрагим Чингиз, сын последнего киргизского хана Джангера), он спешил удалиться в свои покои.

Сравнивая В.А. Перовского с королём Людовиком XIV, я должен сказать, что в его свите, состоявшей из блестящих и титулованных гвардейских офицеров, были весьма полезные администраторы, а также и талантливые литераторы, художники и живописцы. К числу выдающихся администраторов принадлежали: правитель генерал-губераторской канцелярии Кудрявцев, дежурный штаб-офицер полковник Христофор Христофорович Рейтерн. Их двоих называли временщиками, так как В.А. Перовский по болезни своей

не мог заниматься делами, и вся военная администрация края была в руках полковника Рейтерна, а гражданскими делами управлял бесконтрольно правитель канцелярии Кудрявцев. Эти веселые люди держали в строгом повиновении всё население обширного Оренбургского края, занимавшего в те времена пространство, равное территории всей Франции. Бывшего при В.А. Обручеве начальника штаба Фонтон де Варраона сменил при В.А. Перовском генерал-майор Иван Иванович Бутурлин, добродушный человек, который изнемогал под тяжестью своего тучного тела; он любил целый день лежать на локотках на письменном столе своего кабинета и почитать журналы и газеты, занимствуя из них темы для рассказов своим знакомым. Про И.И. Бутурлина рассказывали, что он однажды отправился делать визиты в Новый год и, когда уже сел в крытые сани, вспомнил вдруг, что забыл взять с собою визитные карточки. Денщик сунул в карман карточки, и генерал поехал с визитами. Случилось так, что они никого не заставали дома, и денщик сыпал щедро карточки направо и налево. Когда они наконец подъехали к последнему дому, которым оканчивались их визиты, денщик спросил Ивана Ивановича, которую карточку он прикажет отдать — с одним или с двумя загнутыми уголками, тогда И.И. Бутурлин полобпытствовал взглянуть, какие карточки раздавал его денщик, и взял их у него из рук. И, о ужас! оказалось, что денщик собрал все визитные карточки тех лиц, которые были на праздниках у Ивана Ивано-

вича, и раздавал их по вдохновению, какая ему скорее попадала под руки. И.И. Бутурлин не поехал в другой раз с визитами, а извинившись перед знакомыми в том qu'irquoque, которое наделал его денщик, долго хохотал от души и рассказал об этой проделке своим знакомым, которые тоже в свою очередь много смеялись. Впрочем, случай этот имел и свою хорошую сторону: многие лица, питавшие с давних пор друг к другу вражду, поехали отдавать неожиданно сделанные им визиты и примирились.

При В.А. Перовском находился художник и карикатурист Грановский, член географического общества Небольсин, составивший подробное историко-географическое исследование Оренбургского края, полковник генерального штаба И.Ф. Бларамберг, составивший для военно-топографического отдела самую подробную карту Оренбургского края и принадлежащей к ней части Киргизской степи. Но душою общества был родной племянник В.А. Перовского — Александр Михайлович Жемчужников. Ни одно пристрастие и ни одна холостая пирушка не обходились без него и без сосланного в Оренбург князя Трубецкого, дочь которого, знаменитая красавица, вышла впоследствии замуж за посланника, графа Морни. А.М. Жемчужников отличался остроумием, редкою находчивостью и неистощимым веселью. Игрою личных мускулов он изменял совершенно черты своего лица и изображал с поразительным сходством всех своих университетских профессоров. Мало того, разговаривая с вами, он моментально усваивал ваш облик,

манеру, движения, звук голоса, так что вы могли вдруг видеть перед собою своего двойника. При этом он был ещё поэтом-юморист, и в обществе его нельзя было соскучиться. Он числился на государственной службе в пограничной комиссии по управлению Оренбургскими киргизами, но не особенно ревностно занимался письмоводством. Однажды дядя его, В.А. Перовский, призвал его к себе и сделал ему строгий выговор за небрежное отношение к службе. А.М. Жемчужников выслушал терпеливо дядюшкын реприманд, но когда В.А. Перовский заговорил с ним уже в более примиренном тоне, то он в виде извинения сказал:

— Сжальтесь же надо мною, mon oncle! Как же я буду заниматься, когда у нас в пограничной комиссии нет перьев?

— Как нет перьев? — удивился В.А. Перовский.

— Так точно: госпожа Гроховская надела их все себе на голову.

А как раз накануне был бал у В.А. Перовского, и почтенная старушка, вдова полковника, Гроховская, имела на голове презатейливый убор, состоявший весь из разноцветных перьев, бывших в то время в моде. Услыхав такое оправдание своего повесы племянника, В.А. Перовский расхохотался, и долго раздавался его смех, а виновник этой весёлости, А. М. Жемчужников, продолжал стоять перед дядюшкой с самым серьёзным лицом, как будто изрёк неопровержимую истину.

В другой раз с А.М. Жемчужниковым был следующий случай. Он жил на главной улице г. Оренбурга, называемой Большою, в третьем эта-

же, а под ним в бельэтаже жил богатый землевладелец, камер-юнкер Александр Петрович Загряжский. Александр Петрович слыл большим чудачком. Аристократ *jusqu'au bout des ongles*, родовитый дворянин, имевший большие связи в Петербурге, он был владельцем Каноникольской дачи, заключавшей в себе медеплавильный завод и 120 000 десятин под мачтовым и строевым лесом. Имея сильную поддержку в Петербурге, он чудил у себя в заводе, и все его барские затеи сходили ему с рук. Однажды, проживая у себя в имении, он отправился ко всеобщей; ему показалось, что молодой заводской священник не так держит кадило. Не долго думая, он вошёл в алтарь, взял кадило из рук священника и сам стал кадить перед иконами, приговаривая: «Вот, батюшка, как надо кадить, вот как. Я вижу, что вы ещё очень неопытны, и мне приходится вас учить».

Итак, в одном доме с этим оригиналом, А.П. Загряжским, жил А.М. Жемчужников... Как-то на Рождество ему пришла фантазия устроить у себя ёлку, на которую собралась у него вся *jeunesse dorée* свиты В.А. Перовского, а также посланные в то время и разжалованные в рядовые оренбургских линейных батальонов поэт Алексей Николаевич Плещеев и князь Трубецкой, похитивший знаменитую красавицу того времени Ж-скую. Посреди залы на большом столе была водружена ёлка со множеством горевших на ней восковых свечей, а вместо конфет и лакомств были привешены к веткам полубутылки лучшего шампанского по числу приглашённых, а у подножья ёлки

на большом столе была сервирована роскошная закуска из свежей икры, уральского балыка и всех возможных гастрономических раритетов, с целой батареей водок, коньяков и всяких вин. Молодёжь пила, ела, веселилась, пела и плясала вокруг ёлки и подняла, конечно, страшный шум, который обеспокоил жильца бельэтажа А. П. Загряжского. Не долго думая, этот большой барин прислал своего камердинера сказать А.М. Жемчужникову, что у него голова разболелась от шума, и что он приказывает тотчас же всем разойтись по домам. Тогда, извинившись перед гостями, А. М. Жемчужников попросил всех удалиться, обещая, что на завтра все опять соберутся и повеселятся ещё больше, чем сегодня.

Едва гости вышли на улицу, А.М. Жемчужников спустился на площадку парадной лестницы, установил на ней мишень для стрельбы и, зарядив пару пистолетов, принялся стрелять из них в цель. Бац! бац! — гремел выстрел за выстрелом, и эта непрерывная канонада способна была разогнать даже самый сильный сон человека с самыми крепкими нервами. Услышав эту пальбу, А.П. Загряжский перенулся не на шутку и, вскочив с постели, накинув на себя бархатный шлафрок, выскочил на лестницу.

— Cher ami, cessez de grace, — вопил он жалобным голосом. — J'ai diablement peur de cette canonnade, — умолял он, обнимая дружески А.М. Жемчужникова.

— Je regrette infiniment de ne pouvoir me rendre a vos vœux, — извинялся в свою очередь А.М. Жемчужников, — но по вашей просьбе я

принужден был *de mettre a la porte tous mes amis*, и все они вызвали меня на дуэль. Завтра я должен по очереди стреляться с тридцатью моими лучшими приятелями, и так как я не хочу быть убитым, то я решился до самого утра упражняться в стрельбе и клянусь вам, что я дорого продам свою жизнь.

— Mais écoutez donc, cher ami. Ну, хотите, я завтра утром надаваю фраз и еду извиняться перед вашими друзьями?

— Это не поможет. Ils ont soif de mon sang, — и после этих слов А.М. Жемчужников сделал несколько выстрелов в мишень и попал прямо в центр.

А.П. Загряжский в отчаянии жаловал.

— Vous me ferez mourir! — вскричал он. — Ну, вот что: мы завтра утром едем с вами к вашим друзьям, а вечером я вас приглашаю вместе с ними ко мне поужинать, et j'ai dans ma cave un vieux vin français, от которого ваши гости язык проглотят.

— Ну, так и быть, только для вас, Александр Петрович, — согласился А.М. Жемчужников, и на следующий вечер состоялась у А.П. Загряжского феноменальная и грандиозная выпивка.

Раставшая со своими излюбленными детьми: Оренбургским Неплюевским кадетским корпусом и Оренбургским девичьим институтом, В.А. Обручев плакал истинными слезами, и учащиеся дети провожали его тоже с плачем, так как он в своём губернаторском доме устраивал для них ежемесячно балы и празднества и каждое воскресенье присылал конфеты институткам и кадетам.

В.А. Перовский наоборот не любил корпус и института, потому что эти два учебных заведения были созданием В.А. Обручева. Помню, как-то один раз В.А. Перовский прислал по 25 рублей в корпус и институт на устройство ёлки для учащихся, но к себе никогда не приглашал детей и вообще относился очень индифферентно к оренбургским учебным заведениям.

Со дня вступления моей матери в должность начальницы прошло незаметно шесть лет, и в мае месяце 1864 года был сделан первый выпуск девиц из института. На акте, устроенном по окончании экзаменов, В.А. Перовский отказался присутствовать, сославшись на своё болезненное состояние. Он страдал сильными припадками удущья. Но все начальники отдельных частей, наказный атаман Оренбургского казачьего войска, граф Илья Андреевич Толстой, командующий бакирским войском генерал-лейтенант Николай Васильевич Балкашин, директор Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса генерал-майор Шилдов, а также дворянство, должностные купечество, родители и родственники выпускных девиц присутствовали на акте. Все выпускные девицы были одеты в лёгкие белые платья, и наружность их настолько изменилась к лучшему, что в них нельзя было узнать прежних грубых оренбургских и уральских казачек. Манеры, походка, всё изменилось к лучшему. Все они умели поддержать салонный разговор на французском языке и могли читать а *livre ouvert* французские и немецкие книги. Целый ряд рудкодельных работ и прекрасно ис-

полненных карандашом и красками рисунков свидетельствовал о том, что природные их таланты развивались под благотворным влиянием умелых наставниц и наставников. В концертном отделении акта были исполнены на двух роялях в восемь рук целые отрывки из опер: Глинки, Мейербера, Россини и Гуно. Хоры и солистки отличались прекрасными свежими голосами и знанием музыки. А несколько девиц отличались талантом декламации и прочитали перед собравшимися гостями отрывки из произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Грибоедова. Родители и родственники благодарили со слезами на глазах начальницу и весь учительский персонал за очевидные успехи своих дочерей. Блестящие результаты первого выпуска Оренбургского девичьего училища произвели весьма оградное впечатление на оренбургское общество, и с наступлением учебного 1864 — 1866 года уже вместо 40 воспитанниц насчитывалось с вновь поступившими более 80. Хотя это учебное заведение при стараниях моей матери, начальницы института, подверглось многим существенным изменениям, но всё-таки оставалась желать многого и очень многого, чтобы поставить его на твёрдую ногу. Теперь обеды и ужины готовились не на кухне Неплюевского кадетского корпуса, а на своей институтской кухне. Точно так же и бельё мылось в своей прачечной. Для поставки мяса был тоже свой контрагент, и ежедневно все съестные припасы осматривались начальницею при совместном наблюдении институтского врача. Хозяйством института заведовала не

супруга эконома кадетского корпуса, как это было при В.А. Обручеве, а была своя экономка, живущая в институте. Так же точно была определена особая лазаретная дама для наблюдения за лазаретом. Но на всё это требовались деньги, которых в наличности не было, так как штаты этого учебного заведения оставались прежние, утверждённые ещё при В.А. Обручеве, когда в девичьем училище насчитывалось не более 40 девиц. Само помещение института требовало расширения, и вот стали притрагивать соседнее место, чтобы на нём воздвигнуть такое же другое двухэтажное здание, которое можно было бы соединить под одно с прежним, выстроенным В.А. Обручевым. В виду всех этих обстоятельств мою матью овладело сильное и неудержимое желание упрощить в обширном Оренбургском крае существование института — этого единственного рассадника женского образования, так как в те времена не было не только женской гимназии и прогимназии в Оренбурге, но не существовало даже и участковых школ, и только девочки-сиротки обучались грамоте старушками в приюте св. Ольги. Но как добиться желаемых реформ? Писать в Петербург, представлять проекты и планы? Всё это прекрасно, но для этого нужно ждать годы и годы.

А потому моя мать решилась просить отпуска в С.-Петербург и здесь лично ходатайствовать у императрицы Александры Фёдоровны о всех нуждах института. В ответ на просьбу мать моя получила разрешение воспользоваться отпуском с 1-го июля 1856 года. Она тотчас

же собралась и пустилась в путь. В то время судоходство по Волге не процветало, и пароходы тащили за собой по большей части баржи, перевозившие значительные грузы, но пассажирское движение совершалось неправильно, и приходилось сидеть на пристанях по двое суток, ожидая пассажирского парохода. Поэтому моя мать решилась ехать до Москвы на почтовых, а из Москвы в С.-Петербург по Николаевской железной дороге. Главным начальником женских учебных заведений ведомства императрицы Марии был его высочество принц Ольденбургский. К нему-то по приезде в С.-Петербург и поспешила заявиться моя мать, наметившая себе программу неотложных реформ в Оренбургском девичьем училище. Принц принял мою мать очень любезно и обещал многое, но из слов его высочества мать моя поняла, что желаемые реформы могут затянуться или будут отложены в долгий ящик, и потому решилась обратиться с докладом лично к вдовствующей императрице Александре Фёдоровне.

В числе знакомых моей матери находились в то время в Петербурге: графиня Булгари, дочь которой, София Яковлевна Веригина, была замужем за генерал-квартирмейстером Александром Ивановичем Веригиным (впоследствии генерал-адъютантом и членом государственного совета), генеральша Пистолькорс и madame d'Andre, супруга действительного статского советника d'Andre и близкая родственница семейства графов Разумовских, и князь Николай Голицын, генерал-майор генерального штаба.

Но никто из этих лиц не мог доставить моей матери случая представиться императрице, которая в это время по слабости здоровья избегала всех аудиенций и представлений, так как её величеству был предписан врачами абсолютный покой. По счастью, мать моя была дружна с madame Эллис, статс-дамой государыни, пользовавшейся особым доверием императрицы. Мать моя вскоре по приезде в Петербург отправилась в Царское Село, где проживала г-жа Эллис при государыне, и эта добрая и сердечная особа устроила всё дело матери так успешно, что императрица Александра Фёдоровна согласилась принять мою мать тотчас же по возвращении своём в Петербург в первых числах сентября.

С чувством неизъясимой радости и тревоги ожидала мать моего счастливого дня, в который ей предстояло свидеться с императрицей. В тот год сентябрь стоял великопленный в Петербурге, и хотя уже наступили свежие дни, но они были солнечные и ясные. Наконец пришёл этот ожидаемый и желанный день. Г-жа Эллис была так добра и так любезна, что захватила за моей матерью, и они вместе сели в карету и отправились в Зимний дворец, куда уже переехала на осень перед отъездом за границу вдовствующая императрица Александра Фёдоровна. Оставив мать в одной из приёмных комнат, г-жа Эллис поспешила на собственную половину её величества, и, спустя несколько минут, вернулась со словами:

— Venez done, chere m-me Jacquemon! l'pratric, vous invite.

— Я не знаю, — рассказывала мне после мать, — как выразить то неизъяснимое радостное чувство, которое я испытала, услышав слова милой и доброй Эллис. Я пошла ускоренной походкой, и мне казалось в эти минуты, что ангелы несут меня на крыльях. Прошло уже шесть лет с того времени, как я перед отъездом в Оренбург имела счастье представляться государыне императрице, и с той поры многое изменилось.

Когда моя мать вошла в комнату императрицы, государыня полулежала на кушетке. Её величество, будучи в трауре, была в чёрном шёлковом платье, отделанном французскими кружевами с большим вкусом и необыкновенно изящно, причём кружевной воротничок был прикреплён к платью бриллиантовой брошью тончайшей французской работы. На столике возле императрицы лежала вверх крышками недочитанная французская книга, а рядом стоял стакан с водой с запахом fleurs d'oranges. Государыня была очень нервна и любила иметь всегда при себе успокоительное питьё. Увидя мою мать, государыня слегка приподнялась на кушетке и, протянув вперёд правую руку, следующим образом приветствовала мою мать:

— Bonjour, madame Jacquemond, je suis bien aise de vous voir en bonne sante.

Мать схватила руку императрицы и крепко прижала её к губам, а государыня поцеловала мать в лоб и изволила повторить своё приветствие:

— Bonjour, chere madame

Jacquemond, — сопровождая эти слова обворожительной улыбкой.

— Attendez! Vous avez ete chez moi il y a quelques annees de cela avant votre depart pour Orenbourg, n'est ce pas? (Я припоминаю. Вы были у меня несколько лет тому назад перед вашим отъездом в Оренбург. Не правда ли?)

— Oni, Votre Majeste. (Да, ваше величество).

— Mais comme vous etes changee depuis! Vous avez des cheveux blancs. (Но как вы изменились! У вас есть уже седые волосы).

— Votre Majeste quand on a passe six ans a Orenbourg, il est bien permis d'avoir les cheveux blancs. (Ваше величество, проживши шесть лет в Оренбурге, легко и поседеть).

— Oui, oui! chacun a sa part de chagrin dans ce bas monde, et pour moi aussi j'ai eu mes tristes jours. Depuis la mort de mon cher Nicolas je suis toujours souffrante et il y a encore cette guerre qui fait notre desespoir. (Да, у каждого есть своя доля печали в этой жизни, и вот у меня тоже своё горе. Со дня смерти моего дорогого Николая я постоянно больна, да ещё эта несчастная война приводит нас в отчаяние).

— Votre Majeste, le souvenir de notre adore monarche est grave dans nos memoires et permettez moi a cette occasion d'obtenir la plus grande grace que je puisse ambitionner pour mon etablissement, c'est que notre institute soit surnomme Nicolaevsky en memoire de votre auguste epoux feu l'Empereur Nicolas. (Ваше величество! память о нашем возлюбленном монархе глубоко запечатлена в нашей памяти, и позвольте мне

кстати просить о величайшей милости; какая только может быть оказана нашему учебному заведению: милость эта состоит в том, чтобы наш институт в память в Бозе почившего супруга вашего императора Николая 1-го назывался Николаевским).

— Madame Jacquemond, vos paroles me font grand plaisir, et je vous prie de croire que c'est accorde d'avance. Vous avez peut etre encore quelque chose a me demander. Mettez donc le tout sur mon agenda. (Г-жа Жакмон, ваши слова доставляют мне большое удовольствие, и прошу вас верить, что желание ваше будет исполнено. Быть может, у вас есть ко мне ещё какая-нибудь просьба. Запишите всё в мою памятную книжку).

С этими словами императрица подала моей матери книжечку в синем бархатном переплёте с золотым аграфом, в которую мать моя вписала в нескольких словах то, о чём уже предварительно переговорила с принцем Ольденбургским. Императрица милостиво приняла из рук матери свою записную книжку.

— C'est bien, je ferai mon possible pour que vous soyez contente, — сказала государыня. (Хорошо, я всё сделаю, что только можно, и надеюсь, что вы будете довольны).

— Mais plus je vous regarde, plus je vous trouve changee. Vous n'etes pas vieille et dependant vous avez deja les cheveux blancs. (Но чем больше я на вас смотрю, тем более нахожу, что вы изменились. Вам ещё не много лет, а у вас есть уже седые волосы).

— C'est que j'ai eu des moments bien difficiles a passer, Votre Majeste. (Мне пришлось пережить очень тяжёлые минуты, ваше величество).

— Courage, courage! et vous trouverez toujours en moi appui et soutien et ma plus vive sympathie. (Мужайтесь, мужайтесь, и вы найдёте во мне всегда поддержку и самое живое сочувствие).

— Oh, Votre Majeste, je n'oublierais pas vos bontes pour moi jusqu'a mon dernier soupir. (О! ваше величество, я до моего последнего вздоха не забуду ваших милостей).

— Vous passerez n'est ce pas quelque temps a Petersbourg, et j'espere que je vous reverrai. (Не правда ли, вы проведёте ещё некоторое время в Петербурге, и я надеюсь ещё с вами видется).

— La saison est avancee, et je compte partir bientot, Votre Majeste, tant que les routes sont praticables dans notre contrée. (Так как наступают конец осени, то я рассчитываю скоро уехать, ваше величество, пока дороги ещё не испортились).

— Vraiment! Ainsi adieu, et que Dieu vous benisse. (В самом деле! Ну, так простимся, и да благословит вас Бог).

— Benissez moi, Votre Majeste. (Благословите меня, ваше величество).

— Je vous benis et je vous embrasse de tout mon coeur. (Я вас благословляю и обнимаю от всего сердца), — сказала императрица, и в то время как мать поцеловала руку у её величества, государыня поцеловала мою мать в щеку.

Когда мать моя уже уходила, императрица повторила несколько раз:

— Adieu, adieu, chere m-me Jaquemond (*Прощайте, прощайте, любезная г-жа Жакмон*), — и мать снова оборачивалась лицом к императрице, делая глубокие поклоны, какие принято делать при представлении к высочайшему двору.

— Это был один из счастливейших часов моей жизни, — говаривала часто моя мать.

Осенью того же 1856 года по возвращении моей матери в Оренбург была получена радостная весть о том, что государь император Александр Николаевич высочайше повелел соизволить переименовать Оренбургское девичье училище в Оренбургский Николаевский институт благородных девиц, и вместе с сим были утверждены новые штаты этого учебного заведения, а также составлена смета и ассигнован расход на увеличение здания, и хозяйство Николаевского института было совершенно отделено от хозяйства Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса.

В конце того же 1866 года мать моя получила весьма лестный рескрипт от государыни императрицы Александры Фёдоровны и бриллиантовый фермуар с большим в середине изумрудом из собственного кабинета её величества. Вместо фермуара, если бы мать моя желала получить его ценность, назначено было пять тысяч рублей серебром. К несчастью, эта фамильная драгоценность погибла вместе со всем моим имуществом во время страшного пожара, случившегося в Оренбурге 16-го апреля 1879 года. Прошло три года, и матери моей не стало: она скончалась в Оренбурге 17 февраля 1868 года, но память о ней жива до сих пор среди её бывших учениц.



Алексей Петрович Иванов (Огарыш) родился в деревне Огарково Новгородской области в 1947 году. Окончил филологический факультет Новгородского пединститута, служил в армии на Плиссском космодроме, работал учителем в целинных районах Оренбуржья, журналистом областной газеты «Южный Урал», редактором в издательстве «Современник», заведующим отделом литературы в журнале «Литературная учёба» в Москве. Член Союза писателей России, автор более 10 книг публицистики, прозы и поэзии, дипломант Всесоюзного конкурса на лучшую книгу года (1983). Живёт в пос. Чагода Вологодской области, реставрирует сельские церкви.

Алексей
ИВАНОВ-ОГАРЫШ

ЛЮБИТЬ БЕЗ ПРИКАЗА

Из дневника церковностроителя

Часть вторая

1.

«Когда я возьму то, что бывает ежедневно, то не забуду исчислить то, что от века.»

Притчи, 8.

Чагода

2008

Апрель

15.04.08. Вт.

Закончил «Приказано любить». Это точка, растянущаяся до пределов многоточия, после которого захотелось наконец начать следующий абзац о сегодняшней моей мимотекущей жизни в её обозреваемых берегах. Сейчас кажется, что уяснилось одно: вода моей жизни неизменна ни в течении, ни во вкусовых её качествах. Незначительные отклонения от вектора и вкуса не в счёт — они придают неизменному прелесть новизны.

ортуг, а также одну из двенадцати посмертных масок. Покидая Оренбург в 1841 году, Даль оставил посмертную маску Пушкина в семье родственника жены И.А. Соколова, страстного почитателя поэта. Ныне эта бесценная реликвия хранится в Оренбургском областном краеведческом музее. Два года спустя после смерти Пушкина, возвращаясь из-за границы на родину, Гоголь писал друзьям

поэта: «Боже, как странно: Россия без Пушкина. Я приеду в Петербург, и Пушкина нет...» Это ощущение невосполнимой потери сохраняется до сих пор. Некоторое утешение приносят лишь строки, написанные достойным преемником поэтической славы Пушкина Ф.И. Тютчевым: «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет!»



М.А. Анискушин. Памятник А.С. Пушкину на площади Искусств в Петербурге



Владимир СОКОЛОВ

«КРЕАТИВ ДЛЯ МЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИНОНИМОМ ОБМАНА»

О массовом увлечении фотографией, дьявольских сетях и райских птицах

Беседа члена Союза писателей России, главного редактора альманаха «Гостиный Двор» Натальи Кожевниковой с руководителем первой оренбургской школы-студии фотомастерства Владимиром Соколовым

— Владимир, профессия фотографа в последние годы стала в нашем городе очень популярна. Эти люди активно рекламируют себя в качестве фотохудожников, не стесняясь в эпитетах. Удивляет большое количество фотостудий, предлагающих все виды фотоуслуг, гарантирующих высокий профессиональный уровень, использование самой дорогой техники. Это что, действительно, выгодный бизнес?

— Был бы выгодным — не сдавали бы свои студии в аренду. Как правило, фотографы зарабатывают летом и осенью — на свадьбах, выпускных вечерах плюс случайные заказы. Зимой же сосут лапу, и это естественно. В Оренбурге нет большого спроса на фотоуслуги массового уровня и качества. Другое дело —

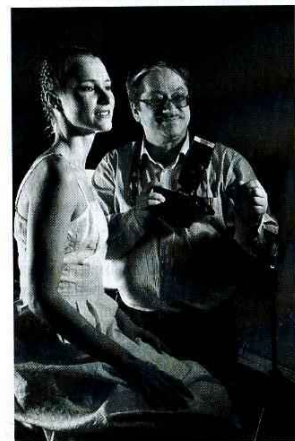
творческая фотография. О-о, здесь дьявол широко расставил свои сети!

— В смысле — социальные?

— Конечно. Посмотри на количество общающихся «в контакте» или «фейсбуке». Что их объединяет, какие интересы? В основном, это фотография.

— Ну и что плохого в том, что люди обмениваются снимками, собирают коллекции интересных работ, выкладывают своё творчество в фотоальбомах на сайтах или на своих страничках? Таким образом они общаются...

— Я вижу проблему в другом. Лет тридцать назад в каждом городе существовали фотоклубы, объединяющие десятки тысяч фотолюбителей — людей, бескорыстно занимающихся творчеством. Это была настоящая влёт творческой фотографии,



издавалось множество фотоальбомов, книг по фотокunstству. Какие устраивали выставки! Нам сейчас далеко до тех достижений. И дело не в технологиях, а в том уровне самовыражения, в свободе личной и творческой. Да, «Kodak» и сетевой маркетинг уничтожили традиционный чёрно-белый процесс с его неповторимой магией. Но сам-то «Kodak» продержался в России всего несколько лет — и слава Богу! Теперь фотограф не зависит от капризов сотрудников минилаба, цифровые технологии дают ему возможность похвастаться себя Демургом!

— Ага, так вот где сети-то дьявольские!

— Нет, дьявол — в гордыне, в стереотипе, в стандарте. Поясню. С помощью цифровых технологий можно копировать всё, что угодно: творческую манеру, композицию, образ, стиль обработки и так далее. Что, собственно, и происходит среди многомиллионной аудитории социальных сетей, вовлечённой в процесс фототворчества. Интернет не может научить думать, он скорее возбуждает желание повторить то, что понравилось, и получить свою порцию сладкого яда — одобрения сети. Так формируются легионы новых фотодемургов, ворующих чужие идеи.

— Но люди в сетях разные — и по жизненному опыту, и по образованию. Не могут же всем сразу нравиться одни и те же приёмы?

— К сожалению, поколение, выросшее у мониторов, несёт одним Голфстримом. Внутри течения они, возможно, разные, но плыть против — не умеют. Для этого нужно обра-

стать собственным опытом, сильными планиками. Как объяснить моду на эстетику тлена, пропитавшую всё девичье творчество? Всю эту тошнотворную дихрочную вуаль, завалы перспективы, загаженные помойки, куда затаскивают на фотосессии бедных невест?

— Что поделать, сейчас мода на креатив. Привлекает всё необычное.

— Для меня слово «креатив» давно уже является синонимом обмана. Раздели стоимость и художественную ценность, допустим, снимка, где девушка зачем-то подвешивают на верёвках вниз головой. Смело дели на тысячи — именно столько «шедевров» на эту тему ты сможешь отловить в сетях. Декадентство — это кризис ценностей общества. Вспомни, когда оно впервые появилось и при каких обстоятельствах. Студенты-филологи, по крайней мере, должны это знать.

— Помню — «фиолетовые ноги на оранжевой стене вытнцовывают звуки в инфракрасной тишине» — действительно, упадок общества проявляется, прежде всего, в упадке культуры. Но критиковать легче всего, декадентство сдуло ветром революции почти сто лет назад, а ведь такие же студенты и школьники занимаются и на твоих курсах.

— Приведу такой пример. На мастер-классе по рекламной съёмке



падающих фужеров, наполненных водой, мы получили эффектный кадр, где струи воды из фужеров перекрещивались, словно сабельные клинки. Предложил назвать работу «Ватерлоо», обыграв, таким образом, английское слово «вода» и наименование той местности, где армия Наполеона была разбита окончательно. Но с тех пор при показе этой фотографии многим придумается объяснить и первый, и второй смысл данной метафоры. И второй пример, совсем недавний. В занятии по боди-арту принимали участие выпускники Оренбургского художественного училища и факультета дизайна ОГУ Виктор и Катя. Ставлю задачу: сегодня снимаем образ русалки, которая в сонме ветвах птиц русской мифологии тоже когда-то числилась птицей. Помните, у Пушкина: «...русалка на ветвах сидит»? Вам нужно объединить стилистику русской мифологии, чтобы фактура росписи тела органично переходила в фактуру чешуи хвоста русалки. И знаешь, что они сделали? Расписали тело модели гжелью! Получилось ге-

ниально, это нужно видеть! Русалка в стиле гжель... Эти изумительные голубые с белым тугие бутоны — душа, готовая открыться создателю, а хвост-то ведьмачий, русалочий, ещё мерцает влагой. Нет, я горжусь такими учениками.

— *Прямо хоть самой к тебе идти записываться, так заманчиво! Ну а остальные твои выпускники, где они находят себе применение?*

— Разумеется, многие продолжают работать по основному месту, фотография для них — скорее подспорье, возможность заработать на кусок хлеба с маслом. Кто-то давно состоялся в другой профессии, в бизнесе и для него это, скорее, занятие для души. Я им всем желаю удачи и благополучия. Тем же, кто заинтересован в творческом росте, мы предлагаем участие в наших конкурсах и проектах, таких, например, как «Гоголевские типажы со-

временной России», «Очарованный странник» (Лесковский проект) и упомянутый выше «Райские птицы русской мифологии». Цель одна — отобрать и приблизить наиболее одарённых людей. Именно поэтому мы сознательно не пиарим наш второй курс — «Мастер», потому что учиться на нём — это уже привилегия, и мы отбираем туда самых преданных фотокисельцам коллег. К тому же далеко не каждый осилит программу курса и сможет выдержать защиту проекта-диплома. Тем он дорожит.

— *Спасибо, Владимир, за беседу и фотографии учеников твоей школы-студии. Уверена, что они получат восхищённую оценку читателей альманаха. Последним хочу напомнить, что Владимир Борисович Соколов является членом общественного редакционного совета альманаха «Гостинный Двор» и автором обложек почти всех его номеров...*



Сети



Зеркало



Элли, унесённая ураганом



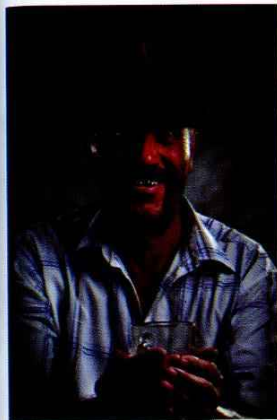
Нальвай, мылая, бо душа горыць...



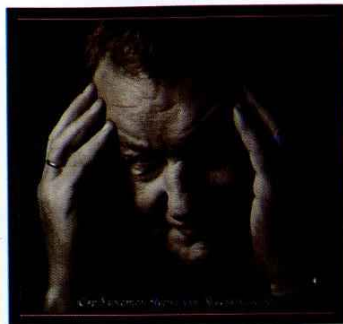
Гоголевский проект



Плюшкин

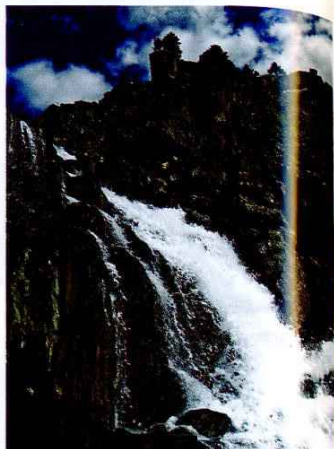


Товарищ Саахов



Леди Макбет

Елена Бакунович:
«Водопад на Алтае»



Весна в Зауральной роще

Александра Скобелева:
Лондон

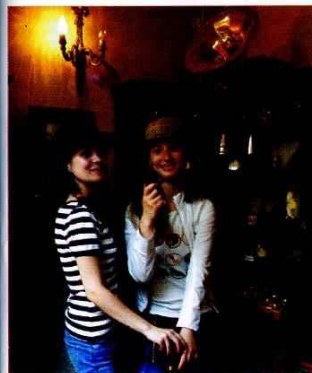


Биг-Бэн



Читающая

Старое и новое



В гостях у Шерлока Холмса



ЩЕДРАЯ МОЯ
РОДУНЯ...





Ах, эта свадьба!



Жёлтый свет



Елена Попова.
Африка



Наталья Жовнир.
Платить-то как будешь?

